

МАРЬЯНА РОМАНОВА

ПРИВРОТ



НЕ ЧИТАЙТЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК!

Бестселлеры Марьяны Романовой

Марьяна Романова

Приворот

«Издательство АСТ»

2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Романова М.

Приворот / М. Романова — «Издательство АСТ»,
2016 — (Бестселлеры Марьяны Романовой)

ISBN 978-5-17-136019-1

Это очень страшная книга! Текст затягивает как в бездонную топь – оторваться невозможно. Страницы книги возвратят вас в детство. Ведь все мы когда-то с замиранием сердца рассказывали друг другу леденящие душу истории, а потом боялись уснуть, дрожа полночи под одеялом. Предупреждение: если вы человек нервный, лучше не читайте эту книгу в темное время суток! Книга также выходила под названием «Страшные истории. Городские и деревенские (сборник)».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-136019-1

© Романова М., 2016
© Издательство АСТ, 2016

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Мертвенький | 6 |
| Иллюзия | 11 |
| Красная шапочка | 22 |
| Черный венок | 31 |
| Смерть красавицы | 34 |
| Инкуб | 37 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 39 |

Марьяна Романова

Приворот

© М. Романова, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Мертвенький

Жила в одной деревне женщина, Варварой ее звали, которую все считали дурочкой блаженной. Нелюдимою и некрасивою она была, и никто даже не знал, сколько ей лет, – кожа вроде бы без морщин, гладкая, а вот взгляд такой, словно все на свете уже давно бабе опостылело. Впрочем, Варвара редко фокусировала его на чем-нибудь лице – она была слишком замкнутой, чтобы общаться даже глазами. Самым странным оказалось то, что никто не помнил, как она в деревне появилась.

После войны перепуталось всё, многие уехали, чужаки, наоборот, приходили, некоторые оставались насовсем. Наверное, и эта женщина была из числа таких странников в поисках лучшей участи. Она заняла самый крайний из пустовавших домов, у леса, совсем ветхий и маленький, и за десяток-другой лет довела его до состояния полного запустения. Иногда сердобольный сосед чинил ей крышу, а потом бубнил в прокуренные усы: никакой, мол, благодарности, у нее дождевая вода с потолка в подставленный таз барабанила, я все сделал, стало сухо, а эта Варвара мало того, что «спасибо» не сказала, так даже и не глянула в лицо.

Никто не знал, на что она живет, чем питается. Она всегда ходила в одном и том же платье из дерюжки, подол которого отяжелел от засохшей грязи. В одном и том же – но пахло от нее не густым мускусом человеческих выделений, которые не смывают с кожи, а подполом и плесенью.

И вот однажды, в начале шестидесятых, один из местных парней, перебрав водки, вломился к ней в дом – то ли его подначил кто-то, то ли желание абстрактной женственности было таким сильным, что объект уже не имел значения. Майская ночь тогда стояла тихая, ясная, полнолунная, с густыми ароматами распустившихся трав и проснувшимися сверчками – а до того всем селом отмечали Победу, играл гармонист, пахло пирогами, пили-ели-гуляли. Парня звали Федором, и шел ему двадцать пятый год.

Вломился он в дом Варвары, и уже сразу, в сених, как-то не по себе ему стало. В доме был странный запах – пустоты и тлена. Даже у деревенского алкоголика дяди Сережи в жилище пахло совсем не так, хоть и пропилил он душу еще в те времена, когда Федор младенцем был. У дяди Сережи пахло теплой печью, крепким потом, невымытыми ногами, скисшим молоком, сгнившей половой тряпкой – это было отвратительно, и все же в какофонии зловонных ароматов чувствовалась пусть почти деградировавшая в существование, но все-таки еще жизнь. А у Варвары пахло так, словно в дом ее не заходили десятилетиями, – сырым подвалом, пыльными занавесками и плесенью. Федору вдруг захотелось развернуться и броситься наутек, но как-то он себя уговорил, что это «не по-мужски». И двинулся вперед – на ощупь, потому что в доме мрак царил – окна были занавешены от лунного света каким-то тряпьем.

Ткнулся выставленными вперед руками в какую-то дверь – та поддалась и с тихим скрипом отворилась. Федор осторожно ступил внутрь, несильно ударившись головой о перекладину, – Варвара была ростом невелика, и двери в доме – ей под стать. Из-за темноты Федор быстро потерял ориентацию в пространстве, но вдруг кто-то осторожно зашевелился в углу, и животный ужас, какой на большинство людей наводит тьма в сочетании с незнакомым местом, вдруг разбудил в парне воина и варвара. С коротким криком Федор бросился вперед.

– Уходи, – раздался голос Варвары, тихий и глухой, и Федор мог поклясться, что слышит его впервые.

Многие вообще были уверены, что чудачка из крайнего дома онемела еще в военные годы, да так и не пришла в себя.

Она протянула руку к окну, отдернула занавесь, и Федор наконец увидел ее – в синеватом свете луны ее спокойное уродливое лицо казалось мертвым.

– Вот еще! – Он старался, чтобы голос звучал бодро, но из-за волнения, что называется, «дал петуха», и, сам на себя за это раздосадовав, излил злобу на Варвару, ткнув кулаком в ее безжизненное лицо. – Давай, давай... я быстро.

Она не сопротивлялась, и это спокойствие придало ему сил. «Наверное, сама об этом мечтает, рада до смерти и не верит счастью своему, – подумал он. – Мужика-то, поди, уже лет двадцать у нее не было, если не больше».

Варвара вся была окутана каким-то тряпьем, точно саваном. Федор вроде бы расстегнул верхнюю кофту, шерстяную, но под ней оказалась какая-то хламида, а еще глубже – что-то, похоже, нейлоновое, скользкое и прохладное на ощупь. В конце концов, разозлившись, он рванул тряпки, и те треснули и едва не рассыпались в прах в его ладонях. Варвара же лежала все так же молча, вытянув руки по швам, как покойница, которую готовили к омовению. Глаза ее были открыты, и краешком сознания Федор вдруг отметил, что они не блестят. Матовые глаза, как у куклы.

Но в крови уже кипела вулканическая лава, желающая излиться, освободив его от огня, и ему было почти все равно, кто отопрет жерло – теплая ли женщина, послушавленный ли кулак или эта серая кукла.

Грудь Варвары была похожа на пустые холщовые мешочки, в которых мать Федора хранила орехи, собранные им в лесу. Не было в ее груди ни полноты, ни молочной мягкости, а соски напоминали древесные грибы, шероховатые и темные, прикоснуться к ним не хотелось.

В тот момент сознание Федора словно раздвоилось: одна часть не понимала, как можно желать это увядшее восковое тело – страшно же, противно же, а другая, как будто околдованная, лишь подчинялась слепой воле, порыву и страсти. Коленом он раздвинул Варварины бедра – такие же прохладные и сероватые, будто восковые, и одним рывком вошел в нее – и той части сознания Федора, которой было страшно и противно, показалось, что плоть его входит не в женщину, а в крынку с холодной ряженкой. Внутри у Варвары было рыхло, холодно и влажно.

И вот, излив в нее семя, Федор ушел, по пути запутавшись в штанах. Он чувствовал себя так, словно весь день пахал на вырубке леса, но списал эту слабость и головокружение на водку. Прибрел домой и, не раздеваясь, завалился спать.

Всю ночь его мучили кошмары. Снилось, что он идет по деревенскому кладбищу, между могил, а со всех сторон к нему тянутся перепачканные землей руки. Пытаются за штанину ухватить, и пальцы у них ледяные и твердые. В ушах у него стоял гул – лишённые сока жизни голоса умоляли: «И ко мне... И ко мне... Пожалуйста... И ко мне...»

Вот на дорожке пред ним появилась девушка – она стояла, повернувшись спиной, хрупкая, невысокая, длинные пшеничные волосы раскиданы по плечам. На ней было свадебное платье. Федор устремился к ней как к богине-спасительнице, но вот она медленно обернулась, и стало ясно – тоже мертва. Бледное лицо зеленоватыми пятнами пошло, некогда пухлая верхняя губа наполовину отгнила, обнажив зубы, в глазах не было блеска.

– Ко мне... ко мне... – глухо твердила она. – Подойди... Меня нарочно хоронили в свадебном... Я тебя ждала...

Проснулся Федор от того, что мать плеснула ему в лицо ледяной воды из ковшика:

– Совсем ополоумел, пьянь! Упился до чертей и орал всю ночь, как будто у меня нервы железные!

Прошло несколько недель. Первое время Федор никак не мог отделаться от ощущения тоски, словно бы распростершей над ним тяжелые крылья, заслоняя солнечный свет. Пропали аппетит, желание смеяться, работать, дышать. Но постепенно он как-то оправился, пришел в себя, снова начал просить у матери утренние олады, поглядывать на самую красивую девицу деревни, Юленьку, с длинными толстыми косами и чертями в глазах.

С Варварой он старался не встречаться, впрочем, это было нетрудно – она редко покидала свой дом и палисадник, а если и выходила на деревенскую улицу, то жалась к обочине и смотрела на собственные пыльные калоши, а не на встречных людей.

Постепенно странная ночь испарилась из памяти – и Федор даже не вполне был уверен в ее реальности. Его сознание какой-то снежный ком слепило из реальных фактов и воспоминаний ночных кошмаров, уже и не понять: что правда, а что – страшный образ, сфабрикованный внутренним мраком.

Наступила зима.

Зимними вечерами Федор обычно столярничал – ремеслу обучил его отец, у обоих были золотые руки. Со всех окрестностей обращались: кому стол обеденный сколотить, кому забор поправить, кому и террасу к дому пристроить.

И вот в конце ноября однажды случилось странное – в дверь постучали, настойчиво, как если бы речь шла о срочном деле, а когда Федор открыл – на улице никого не было. Человека, потревожившего вечерний покой семьи, словно растворило ледяное плюющееся мокрым снегом пространство. Только на половице, придавленный мокрым камнем, белел конверт.

Оглянувшись по сторонам, Федор поднял его, заглянул внутрь и удивился еще больше – внутри были деньги. Не миллионы, но солидная сумма – столько бы он запросил как раз за строительство летней терраски. Для реалий деревни это было нечто из ряда вон – соседи, конечно, не голодали, но и откладывать деньги было не с чего, а за работу все предпочитали платить в рассрочку. Вместе с купюрами из конверта выпала записка. «Я прошу вас сделать гроб, длина – 1 метр, материал – дуб или сосна. Деньги возьмите сразу, а за готовой работой я приеду при первой возможности».

Не из пугливых был Федор и уж точно не из суеверных, но что-то внутри него похолодело, когда дочитал. Длина – 1 метр. Выходит, гроб-то – детский. Почему за него готовы столько заплатить? Если бы заказчик спросил у него цену, Федор назвал бы сумму, раз в двадцать меньшую, и то не считал бы себя обиженным. Почему выбрали столь странный способ сделать заказ? Такое горе, что от лиц чужих мутит? Но получается, ему даже выбора не оставили – деньги-то кому возвращать? Можно, конечно, так и держать их в конвертике, а когда заказчик явится, с порога сунуть ему обратно. С другой стороны... А если там ребенок при смерти. И вот человек придет, а ничего не готово. В полотенце его хоронить, что ли?

Тяжело было на душе у Федора, но все же работу он выполнил. За два вечера управился. Самые лучшие доски взял, старался так, словно ларец для императорских драгоценностей делал. Даже резьбой украсил крышку – делать-то все равно зимними вечерами нечего.

Прошла неделя, другая, а потом и третья началась, но за работой так никто и не пришел. Маленький гроб стоял в и без того тесных сенях и действовал всем на нервы. Проходя мимо него, отец Федора мрачно говорил: «Етить...», а мать, однажды о него споткнувшись, машинально ударила деревяшку ногой, а потом опомнилась, села на приступок и коротко всплакнула.

И вот уже под Новый год как-то выдался вечер, когда Федор остался дома совсем один. Родители и маленькая сестренка уехали в соседний поселок навестить родственников, там и собирались переночевать.

Вечер выдался темный и вьюжный – за плотной шалью снегопада ни земли, ни неба не разглядеть.

И вдруг в дверь постучали – тот же настойчивый торопливый стук, Федор сразу его признал, и сердце парня ухнуло – как будто с бесконечной ледяной горки.

Осторожно подойдя к двери, он спросил – кто, однако ему не ответили. Зачем-то перекрестившись, он отпер дверь – на крыльце стояла невысокая женщина, укутанная в телогрейку и большой шерстяной платок. Федор даже не сразу признал в ней Варвару – а когда разглядел ее лишенное эмоций серое лицо, отшатнулся.

– Что тебе надо? Зачем приперлась? – В нарочитой грубости он пытался черпать силы.

– Так пора, – глухо ответила она и мимо него прошла внутрь. – Я думала, еще несколько недель носить, но сейчас вижу, что нет. Пора.

– Что ты мелешь-то, дурища? Ступай откудова приперлась.

И тогда Варвара подняла на него лицо. Федор отступил на несколько шагов, взгляд его беспомощно заметался по сеним, пока не уткнулся в маленький топорик, которым они с отцом рубили щепки для растопки печи. «Бред какой-то... Не буду же я на нее, бабу слабую, с топором... Я же ее пальцем перешибить могу, что она мне сделает-то, убогая...» А женщина просто спокойно смотрела на него, и ее глаза были похожи на подернутые льдом лужи. Такие же тусклые и кукольные, как той ночью, которую он все эти месяцы пытался забыть.

Варвара усмехнулась – все так же без эмоций:

– Что же ты, Федя? Думал, поразвлечешься, а отвечать не придется? Неси воду и тряпки, рожаю я.

– Какого хрена... – И тут только разглядел под ее распахнутой телогрейкой огромный круглый живот.

– С минуты на минуту начнется, что же ты медлишь?

Она вовсе не была похожа на женщину, которую волнует появление первенца. Бескровное спокойное лицо, обветренные губы, ровный тихий голос:

– К тому же, заплатила я. Все по-честному. Сделал, что я просила? Успел?

Федор даже не сразу понял, о чем это она, а когда понял, вдруг почувствовал себя маленьким и беззащитным. Как в те годы, когда отец пугал его лешим и банником, а Федя потом всю ночь пытался успокоить дыхание – ему все мерещились шорохи и перестуки, какая-то иная, скрытая от взрослых жизнь, которая начинается в доме, когда все отходят ко сну. Хотелось броситься к матери, вдохнуть ее успокаивающее тепло, но мешал стыд.

– Зачем же тебе... гроб? – последнее слово он почти шепотом выдохнул в лицо Варвары.

– Ну как же, – усмехнулась она. – Где-то ведь ему надо спать. Мертвенький ведь родится, – и погладила себя по тугому животу.

Федора замутило.

– Воду ставь, – скомандовала Варвара. – И тряпки тащи. Начинается.

Как во сне он дошел до печи, взял чайник, потом залез в сундук матери, нашел какие-то старые простыни. Все происходящее казалось ему дурацким розыгрышем. Он не мог поверить, что деревенская дурочка и правда собирается родить в его сених, что ему придется принимать в этом участие. И эти чертовы деньги, и этот гроб. «Мертвенький ведь родится...»

Когда Федор вернулся в сени, Варвара уже лежала на полу, задрав юбки и раскинув в стороны бескровные ноги, спина ее выгнулась дугой, как будто женщина получила удар молнии, однако лицо по-прежнему не выражало ни страха, ни боли, ни предвкушения.

Сестренка Федора тоже дома родилась – схватки начались внезапно, тоже была зима, они не успели бы доехать до сельской больницы. Он помнил раскрасневшееся потное лицо матери, ее утробный крик, больше похожий на звериное рычание, помнил, как разметались по подушке ее слипшиеся от пота волосы, и какой запах стоял в комнате – горячий, густой, нутряной, и как ему тоже было не по себе – но то был другой страх, страх присутствия некой вечной закономерности.

Мать просила то попить, то приложить к ее лбу пригоршню снега, то открыть форточку, то закрыть. А потом он услышал сдавленный плач сестренки, и они с отцом выпили по рюмочке, ликуя, и мать выглядела такой счастливой, несмотря на то, что все одеяла были пропитаны ее кровью.

Варвара же молча, сцепив зубы, производила на свет новую жизнь, она работала бедрами и спиной – ловко, как змея, и сени тоже заполнил посторонний запах – торфяного болота, перегной, влажных древесных корней, дождевых червяков.

Вдруг из нее хлынуло, как будто бы кран открылся, – воды отошли, зеленовато-коричневые, как застоявшийся пруд. Федору пришлось отпрыгнуть – зловонной жидкости было так много, что весь пол в сенях залило. Он даже не сразу заметил, что в этой жиже выбралось из ее чрева на свет крошечное существо, младенец, такой же серый и безжизненный, как его мать.

Варвара села, тыльной стороной ладони отерла лоб, подняла младенца с пола – тот вяло шевелил руками. Его глаза были открыты и словно подернуты белесой пленкой. Федор отвел взгляд – смотреть на ребенка было отчего-то неприятно, что-то в нем было не то. Он даже не закричал, но уже вертел головой, явно пытаясь осмотреться.

– Что стоишь, – мрачно позвала Варвара. – Тебе надо пуповину перерезать. Али книг не читал.

– Я не умею, – почти теряя сознание от усталости и отвращения, промямлил Федор.

– Да что тут уметь. Вон же топорик стоит – им и переруби.

– Что ты несешь, разве ж можно так, топором? Я сейчас бабку Алексееву позову, – вдруг пришла ему в голову спасительная мысль. – Только сбегаю за ней. Она умеет это дело.

– Никого не надо звать, – остановила его Варвара. – Сам виноват, сам и отвечать будешь. Тащи топор... Я тебя научу. И гроб носи. Он уже спать хочет, видишь?

– Варвара, да зачем ему гроб, что же ты говоришь такое страшное? – не выдержал Федор. – Где же это видано, чтоб ребенок в гробу спал? Ты говорила – мертвенький родится, а он вот – шевелится.

– Так и я мертвенькая. – Серые губы растянулись, но это не было похоже на улыбку. – Али сам не понял?.. Гроб носи. И самому тебе отдохнуть надо. А то ведь он скоро проголодается. Вот проснёшься, и я научу тебя, как мертвеньких кормить.

Последним, что увидел Федор, перед тем, как его накрыло бархатным крылом темноты, был старенький, в разветвляющихся трещинках, потолок.

Когда следующим утром родители и сестра вернулись, тело парня уже остыло, но распахнутые глаза сохранили выражение недоверчивой тоски. Что с ним произошло, так никто и не понял, но весь пол сеней был залит густой болотной водой, которую отец Федора и за день вычерпать не смог.

А когда вычерпал досуха, все равно остался запах – тлена, плесени и гнили, – остался на долгие годы, иногда многообещающе утихая, но неизбежно возвращаясь к началу каждой зимы.

Варвару же в той деревне больше никогда не видели – но еще много лет сплетничали, якобы из ее опустевшего дома иногда доносится глухой и монотонный младенческий плач.

Иллюзия

В детстве мне часто снилось, что я – рыжая женщина по имени Елена, у меня есть муж, темноволосый и сутулый научный сотрудник, от свитера которого всегда пахнет табаком, дочь, которая мечтает стать астрономом, и кот, у которого сахарный диабет.

Еще была квартира – захламленная, но по-своему уютная, с пыльным хрусталем в серванте, тюлем на окнах, фиалками в разноцветных горшках и крошечным балконом – там мы хранили лыжи и дочкин велосипед.

Мне снилось, что я была бедна и не очень счастлива. Дочь казалась мне непутевой, потому что училась на тройки; когда муж прикоснулся к моему плечу в темноте, меня брезгливо передергивало, а однажды наш кот упал с балкона и пропал, и три последующих дня я надеялась, что это навсегда, а потом мне было стыдно за эти мысли. Кот вернулся и смотрел на меня так, как будто он все понимает.

Такой вот странный сон, часто повторяющийся. Ведь на самом деле я был мальчиком и в свои двенадцать лет ходил в лучшую языковую школу района, жил с родителями, которые все еще как минимум дважды в неделю запирали спальню на ключ изнутри, а потом, уже утром, мама жарила оладьи и фальшиво напевала «Призрак оперы», а папа задумчиво рассматривал ее обтянутый коротким махровым халатом зад. И никаких котов у нас не было никогда – только собаки. В самом раннем детстве – пудель Максим Иванович – я почти его не помнил, потом – лабрадор Будда.

По причинам очевидным я стеснялся рассказывать об этом сне родителям. Мне казалось – не поймут, будут переглядываться, смеясь. Папа скажет что-то вроде: «Не знаю, что более печально – и в самом деле быть странным или отчаянно хотеть казаться таковым. “Я не такой, как все, и мне снятся странные сны!”» А мама в шутку ударит его свернутым кухонным полотенцем, а мне скажет: «Не слушай этого дурака!», хотя в глубине души будет с ним согласна, потому что они – пресловутая «одна сатана», а я – «непонятно, в кого такой уродился». Это в лучшем случае. А в худшем – всполошатся и потащат на прием к сексопатологу. Мои двенадцать лет пришлись на середину девяностых – очередная волна сексуальной революции как раз неторопливо докатилась до России, и почти в каждом ток-шоу работал штатный эксперт-сексопатолог – подозреваю, вылупившийся из лузеров от психиатрии. Я представлял, как моя мама приходит к одному из таких, комкая в нервных пальцах носовой платок, и стесняясь начинает: «Моему сыну-подростку снится, что он – женщина по имени Елена...», а сексопатолог поправляет на носу очки с не предвещающим ничего хорошего «мда».

Я рос, и сюжет повторяющегося сна постепенно обрастал подробностями. Как будто бы мое подсознание было сумасшедшим средневековым сказочником, который стоит на смрадной площади и за два пенса придумает кому угодно мрачный сюжетец.

Я засыпал и видел, как научный сотрудник в прокуренном свитере говорит мне в лицо, что ему все надоело и что в его лаборатории есть какая-то Светочка, ненамного старше нашей с ним дочери, которая приносит ему домашние пирожки с яйцом и, пока он ест, сидит напротив и смотрит на него, как на бога.

Мне снилось, что моя дочь, которая когда-то мечтала стать астрономом, связалась с дворовой шпаной, сделала химическую завивку, начала курить и говорить, томно растягивая гласные, – слушаешь и убить хочется. Мне снилось, что у меня варикоз и морщина на лбу, которую я маскирую челкой, и что подруги приходят ко мне только за тем, чтобы убедиться, что их жизнь намного счастливее моей, и я это прекрасно понимаю, но зачем-то продолжаю их звать.

На самом деле мне уже исполнилось восемнадцать, я с первой попытки поступил в университет, у меня появились новые друзья, с которыми почти каждый вечер мы собирались

на чьей-нибудь кухне, пили чай с вареньем и дешевый портвейн и были полностью уверены, что наше поколение – и есть настоящие первооткрыватели, а все, кто жили до, просто готовили базу для наших смелых мыслей и неожиданных выводов.

Да, мне было восемнадцать, и я открыл для себя секс, что оказалось ярче каких-то там безнадежных снов. У меня появилась девушка с колечком в носу и дурными манерами. Что может быть привлекательнее дурных манер – когда тебе всего восемнадцать. Девушку звали Жанна, и я ее, вроде бы, любил.

Время шло, и мне снилось, что научный сотрудник давно ушел к своей Светочке, и у них даже родился сын; и что моя дочь, которая некогда мечтала стать астрономом, однажды в канун нового года выпила слишком много виноградной водки и потащила кого-то из своих одинаково неряшливых приятелей на крышу многоэтажки, чтобы показать ему Вегу.

Было скользко и ветрено, и эта дурища подошла к самому краю – то ли не осознавала близость пропасти, то ли пыталась бравировать, ну в общем, она поскользнулась, и секунд через семь ее жизнь оборвалась на козырьке подъезда. Мне звонили из милиции, и я понеслась к той многоэтажке в сапогах на босу ногу и в шубе поверх ночной рубашки, и успела до приезда «скорой», и увидела свою дочь, похожую на сломанную куклу, и парня, из-за которого была затеяна глупая выходка. Невысокий, с жидкой растительностью на подбородке и немойтой головой – я бы такому даже сложенные в кукиш пальцы не показала, не то что Вегу.

Помню, когда в моем сне впервые появился этот сюжетный поворот, утром я обнаружил, что подушка промокла. Я понял, что плакал во сне, и мне стало стыдно. Мальчики ведь не плачут, и все такое.

Одно было хорошо – сны быстро забывались. Я научился с ними жить, никогда не возвращаться к ним мыслями днем.

А потом я закончил университет, и у меня уже была хорошая работа в банке и сначала какие-то веселые, как американские горки, романы, а потом и любимая женщина, которую родители называли Евой, я уверен, не случайно – когда она появилась, я забыл обо всех других, что были до. А то, о чем ты не помнишь, не существует вовсе.

Все они стали призраками – я не помнил их запах, иногда даже их голос, не помнил, что они предпочитали на завтрак, чего боялись, нравилось ли мне их тело, или с его очертаниями мирила страсть. Они все исчезли, отступили серыми тенями, и Ева стала первой.

На второй год знакомства она переехала ко мне, и до того дня я думал, что живу в обычной однушке в Измайлове, а выяснилось – в Эдемском саду. У нее были рыжие волосы какого-то нежного эльфийского оттенка и в подмышках хилые золотые завитки – это казалось мне трогательным. Ее хотелось прижать к груди, напоить теплым чаем и решить все ее проблемы, хотя, положа руку на сердце, самой явной из Евиных проблем был я сам. Вел я себя как хищник, охраняющий территорию.

Я был слишком молод и еще не понимал, что лучший поводок – свобода. Дай человеку свободу, и он никуда от тебя не денется. Но я так боялся Еву потерять, что стал для нее тюрьмой, того не осознавая.

Мне было неприятно замечать даже чужие взгляды на ее лице, а уж когда однажды кто-то из коллег сказал в моем присутствии, что у нее красивое платье, я молниеносным рысьим броском повалил наглеца на землю и кулаком раскровил ему нос. Возможно, я вообще убил бы его, если бы не оттащили.

Все это произошло быстро и на уровне инстинктов, а не психологических мотивов. В тот момент я был не интеллигентным молодым человеком, банковским работником с карьерными перспективами, нет – я был просто самцом, заметившим другого самца у входа в мою пещеру. Ева в тот вечер собрала немногочисленные платья в чемодан и сказала, что уходит, но потом все-таки простила меня.

Чтобы хоть как-то сбрасывать эту темную, мрачную, разрушительную энергию, я записался в секцию тайского бокса. Бритый наголо инструктор с татуированными змеями на обоих предплечьях учил меня направлять и держать удар, учил обрушиваться на противника всей массой, как падает штормовая волна. После работы я часами пропадал в зале – сначала колол «грушу», потом и первые спарринг-партнеры появились. Мне стало легче – едва ощутив холодок зарождающейся ревности или злости, я бросал в машину сумку со спортивной формой и мчался в зал, где всегда были такие же, как я, – неприкаянные городские воины.

Во сне же я все еще был рыжей женщиной по имени Елена, которая осталась совсем-совсем одна. В молодости одиночество воспринимается свободой, потому что это личный выбор. Когда ты юна и хороша собой, когда у тебя ямочки на щеках и смех как серебряный колокольчик, ты можешь обрести очаг в любой момент, достаточно многозначительно посмотреть через плечо на кого-нибудь, столь же свободного, как и ты. А вот когда на зов твоей улыбки пойдет разве что какой-нибудь коммивояжер в надежде впарить тебе ненужную хрень по завышенной цене, когда даже в утягивающем белье видно, что годами свободное время ты посвящала лежанию перед телевизором, когда свежести больше нет ни во взгляде твоём, ни в дыхании, ни в походке – вот тогда одиночество и становится твоей тюрьмой.

Да, свобода – это выбор, а у тебя выбора больше нет, одна только участь. Казалось бы – живешь в огромном городе, приютившем на своей груди тысячи таких же одиноких, – ходи, знакомься, общайся.

Только вот для этого свободные деньги нужны, хотя бы немного, а у меня их не было вовсе.

И вот однажды в самом начале апреля, в один из первых теплых дней – еще сугробы лежали, но молодежь уже надела футболки – я решила прогуляться.

Настроение было приподнятым – такая редкость – я даже нацепила кожаную шляпу, в годы моего студенчества считавшуюся самым пискком моды, и достала с антресолей коробку с весенними ботинками.

Было решено отправиться на Арбат – когда-то мы любили гулять там с мужем, очень давно, когда еще не научились улыбаться друг другу, когда еще ему казалось, что все те немногочисленные любовные сонеты классиков, которые некогда заставили его выучить университетские преподаватели, написаны именно обо мне. Прогуляюсь, подумала я, туда-обратно, посмотрю на то, как другие приветствуют весну, потом заверну в одну из уличных кафешек, и выпью капучино, и притворюсь хоть на четверть часа, что этот безмятежный гедонизм – и есть моя жизнь.

И вот я приехала на Арбат, но все сразу пошло как-то не так, как мне мечталось, – и ветер оказался слишком холодным, и солнце, на которое я надеялась блаженно, по-кошачьи щуриться, все время уплывало под рваные тучи, и какой-то грязный пьяница вдруг закричал мне вслед: «Какая шляпа! Пряма мадам Брошкина!» И капучино в выбранном кафе стоил в три раза дороже, чем я могла себе позволить, но уходить было как-то неловко.

И вот я сидела за столиком, рассеянно смотрела в окно, и все меня раздражало – от мухи, кружившейся над столом (и это в кафе, где чашечку кофе оценивают в стоимость трехсотграммовой пачки онога), до облаков на небе. Я злилась на собственное легкомыслие, на то, что воспоминания о безмятежном прошлом выманили меня из дома.

Вот тогда я и увидела их – моего бывшего мужа и женщину, прижимавшуюся к его рукаву, якорем на нем повисшую, точно боявшуюся, что он может ускользнуть. Это было неожиданно. Кажется, мы не виделись уже лет восемь. Я была зарегистрирована на Фейсбуке и знала, что у него новая семья, сынишка, что он оставил науку ради малого бизнеса, что дела его куда лучше, чем мои.

Но одно дело – скупы подписанные фотографии, мертвые кусочки чужой жизни, и совсем другое – живой человек, как будто из прошлого вернувшийся, здесь и сейчас, перед тобой. И кажется, совсем он, в отличие от меня самой, не изменился.

Моя рука машинально взметнулась вверх – поправить волосы; глупо, конечно, потому что он не мог видеть меня – в кафе было довольно темно, и нас разделяло стекло.

Мой бывший муж выглядел веселым и беспечным, как если бы в его жизни вообще никогда не случилось ни меня, ни дочери, мечтавшей стать астрономом, ни кота, которого все-таки погубил сахарный диабет. Словно на меня одну ополчилось время, а он остался нетронутым. И как обидно стало мне в тот момент, как горько, и горло будто кто-то сжал невидимой рукой – дышать невозможно...

Закашлявшись, я попыталась встать, но перед глазами больше не было ни окна, ни облаков на не по-апрельски низком небе, ни темной пещерки кафе – только какие-то вспыхивающие круги и волны.

Последним, что я услышала, был возглас кого-то из официантов: «Вызовите «скорую»! Женщине плохо стало!»

В реальной жизни мы с Евой все-таки расстались, ибо случилось то, чего я боялся. Какой-нибудь продвинутый психолог наверняка сказал бы, что я сам и притянул этот страх, вызвал его, как заклинатель вызывает духа.

Моя Ева полюбила другого человека. Изменила мне.

Хотя я всегда считал, что слово «изменить» звучит в этом контексте как минимум глупо. Что я, родина, что ли.

В общем, я вернулся вечером домой, по пути забредя в гастроном, за бутылкой сухого чилийского и Евиными любимыми лимонными дольками в сахаре. Я предвкушал один из тех спокойных вечеров, которые и были кирпичиками нашей жизни, – мы скачаем новую серию «Борджиа», заварим пуэр с молоком и корицей, нальем по бокальчику вина. Иногда будем ставить фильм на паузу, выходить на балкон и болтать или целоваться.

Я открыл дверь своим ключом, и дальше была хрестоматийная почти водевильная ситуация – чужие ботинки в прихожей, чужое серое пальто. Либо ее любовник был пошлейшим позером, либо у него была машина, потому что кто бы иначе вышел на январский мороз в тонком пальто?

Я, конечно, втайне ставил на пошлость. Это так странно – казалось бы, мы должны радоваться, обнаружив, что соперник – хорош собой, успешен и обаятелен. Если подумать логически – это в некотором смысле поднимает и наш собственный авторитет. Но почему-то большинство людей, напротив, вздыхают с облегчением, узнав, что объект страсти их партнера – например, низкорослый неудачник с кариесом или вульгарная особь с врезающимися в ягодицы джинсовыми шортами. Когда по отношению к нему можно произнести фольклорную фразу: «И что она в нем нашла?», и чтобы все друзья, одной рукой подливая в твой стакан крепкий алкоголь, другой хлопали тебя по плечу и подтверждали очевидное: ты намного, намного, просто несравнимо лучше.

Я сначала увидел ботинки и пальто, а потом – боковым зрением – метнувшееся в сторону ванной тело.

– Денис, я думала, что ты позвонишь, – раздался из единственной комнаты, которая была нам и спальней, и гостиной, и кабинетом, голос моей Евы. – Побудь, пожалуйста, две минуты в прихожей. Он сейчас уйдет, и мы поговорим.

И я как под гипнозом опустился на скамейку для обуви.

«Он» действительно появился из ванной спустя шестьдесят секунд, уже одетый, и оказался несколько испуганным мужичонкой средних лет, чем-то напоминающим пирата, с проседью в модно подстриженной бороде.

Приблизившись ко мне, он протянул руку и назвал какое-то имя, видимо, на животном уровне почувствовал, что я слишком обескуражен и опустошен для того, чтобы вступить в самцовый поединок. Потом я вспоминал это с ухмылкой – в каких-то невинных ситуациях я готов был разорвать воображаемого противника в клочья, а когда мне дали повод проявить себя воином, растекся по пуфику, как медуза. Воин хренов.

Как в тумане все происходило, как будто бы я больше не был собою. Я даже машинально его руку пожал, за что потом изводил себя оставшуюся часть вечера. Это было даже более противно, чем сама измена, – я вел себя как слизень, а не как «настоящий мужик». Настоящий бы эту руку сломал, а я – потряс несколько секунд, да еще и с вежливым кивком.

«Он» обулся, набросил на плечи пальто и вышел, стараясь не встречаться со мной взглядом. А я отправился в спальню, чтобы наконец увидеть Еву. Хотя мне не понравилось то, каким тоном она сказала: «Он сейчас уйдет, и мы поговорим».

Ева сидела на кровати, накинув зеленый шелковый халат. Она была очень красивая – бело-розовая, распаренная, гибкая. И не то чтобы спокойная, а словно окаменевшая как Лотова жена. Какая-то часть меня хотела наброситься на нее и растерзать – что же ты, мол, делаешь, тварь, как так можно было со мною, с живым человеком. А другая часть – наоборот, сочувствовала. Бедная девочка, так трогательно пытается держать себя в руках. Спина прямая, как у начинающего йогина, которому даже поза дерева дается с усилием.

Почему в двадцать первом веке, когда к услугам вьедливого сталкера и Юнг, и Фрейд, и Кастанеда, и Кроули, и Рерихи – те, кто разложил по полочкам и примерил на плечи современного человека драгоценный опыт многих поколений величайших мыслителей, – почему ревность осталась такой же едкой и жгучей, как в те времена, когда она заставляла душить, травить и втыкать клинки в сердце неверных супругов?

Есть же целая теория эволюции человеческой психики – почему же большинство из нас такие непрошибаемые собственники и зануды? Почему увидеть свою женщину в объятиях другого – так больно, так стыдно; почему чувствуешь себя таким ничтожным дураком? Что именно так болит в тот момент – часть сознания, которую мы, люди, привыкли называть сердцем? Или совсем другая часть, которую Кастанеда называл чувством собственной важности?

Разговор наш был недолгим. Ева заварила чай, я плюхнул на стол пакет с чертовыми лимонными дольками:

– Ну рассказывай.

Мне нравилось казаться спокойным, я вовсе не был уверен, что действительно хочу услышать какие-то подробности, но зато поток чужих слов послужил поводом к бездействию, за слова можно было уцепиться, как за альпинистскую обвязку, и вяло болтаться над пропастью.

Ева познакомилась с типом, похожим на пирата, на форуме путешественников. Я знал, что она давно мечтает поехать к перуанским шаманам, чтобы попробовать священную аяхуаску. Видимо, тип там уже побывал – может быть, изложил свои впечатления, прикрепил фотографии. Типы, похожие на пиратов, всегда хорошо выходят на снимках. Загорелый, в военный ботинках, в штанах с десятком карманов, туристическим топором, без которого в перуанских горных лесах делать нечего – не прорубишь себе дорогу среди переплетенных корней, стволов и лиан. Ева посмотрела на фото, тип ей понравился, она написала личное сообщение. Он ответил что-то остроумное, завязался разговор, естественным продолжением которого стало совместное распитие дрянного жидкого кофе, который подают в московских кофейнях. Ева увидела его, и он ей понравился.

Моей любимой женщине понравился тип, похожий на пирата. Ей было хорошо. Она провела замечательный вечер, а потом поняла, что помимо дружеской приязни есть еще и страсть. И с непосредственностью ребенка, пожирающего вредные конфеты, она немедленно свою страсть удовлетворила.

Моему любимому человеку было хорошо – отчего же мне тогда так хреново, отчего меня корежит и мутит? А вдруг это значит, что я люблю не саму женщину по имени Ева, а то состояние, которое испытываю рядом с ней? То есть, себя самого в состоянии влюбленности? А Ева просто запустила процесс моего самолюбия в его очередной извращенной разновидности? Люди ведь часто путают любовь с родственными ей, но куда более мелкими ощущениями.

В юности, когда я едва лишился девственности при помощи девицы с дурными манерами и колечком в носу, я совершенно очевидно путал любовь с возникающим почти каждую минуту желанием уединиться с объектом, запустить руки ей под футболку, гладить, мять и стискивать ее кожу, вдыхать ее запах, пожирать ее и испепеляться самому, чтобы потом восстать опустошенным Фениксом. Я был уверен, что люблю и что это навсегда, – на самом же деле просто желал красивую самку.

– И что же мы теперь будем делать? – наконец спросила Ева.

– Я не знаю, что будешь делать ты. Я собираюсь поехать на тренировку.

Когда я вернулся, Евы уже не было, ее пустой разверстый шкаф был похож на черную дыру.

В тот вечер мой повторяющийся странный сон был особенно тяжелым. Кажется, я даже научился распознавать, что это все не по-настоящему, однако выдернуть себя в реальность не получалось.

Во сне я был стареющей несчастной женщиной, потерявшей сознание в кафе; меня увезли в больницу, в мою вену впились игла, затем другая. Когда я открыла глаза, надо мною был выкрашенный масляной краской потолок в трещинках, пахло мочой и вареной капустой.

Со всех сторон вздыхали, кряхтели, похрапывали – я находилась в палате как минимум на десять человек. Попробовала повернуть голову – тело не слушалось, было словно бы из камня высеченным. Каменное тело и живые испуганные глаза, и даже нет голоса, чтобы позвать на помощь.

Наконец кто-то заметил, что я пришла в сознание; позвали медсестру, потом и лечащего врача, те сначала все заглядывали в мое лицо, а потом почему-то начали вести себя так, словно меня не существует.

– Надо позвонить родственникам, – нахмурившись, сказал врач. – У нее в сумке, кажется, был мобильный. Прозвони по контакт-листу!

Медсестра кивнула и убежала, а врач наконец обратился ко мне, он старался говорить громко и медленно, словно я была интеллектуально неполноценной:

– Не волнуйтесь, мы постараемся вам помочь. Вы пока не в состоянии шевелиться, но мы сделаем все возможное.

И ушел. Ушел!

А я даже ничего промычать вслед ему не могла, даже рукой шевельнуть, чтобы остановить его. И поползли минуты. Никогда раньше я не думала, что время может казаться таким бесконечным, будто в медовом сиропе вываренным. Всю жизнь мне не хватало минут, всю жизнь провела впопыхах, не могла толком ни отдохнуть, ни выспаться, а сейчас об одном мечтала – чтобы ночь скорее пришла. Но и когда наконец заканчивалась очередная сотня лет и наступала темнота, и она не всегда становилась спасением – меня мучила бессонница. Я чувствовала себя и усталой, и не нуждающейся в отдыхе одновременно.

У меня никогда не было близких друзей. Честно говоря, большинство окружающих считали меня человеком неприятным; по твердому моему убеждению – из-за того, что я не стесняюсь говорить правду в лицо. Так было всегда – даже когда я была ребенком. Я считала себя волком-одиночкой, не нуждающимся во внимании других. И даже несколько свысока относилась к тем, кто не мог и дня прожить без того, чтобы поделиться подробностями мелких своих страстишек с теми, кто готов их выслушать. Вокруг меня кипела чужая эмоциональная жизнь:

коллеги ссорились и жаловались друг на друга в курилке, влюблялись и советовались о какой-то чуши вроде того, какие трусы надеть на первое свидание.

А сейчас впервые в жизни мне захотелось рассказать кому-то о том, в каком аду я теперь вынуждена жить. Я вдруг поняла, зачем люди ищут сочувствия и внимания, – ты как будто откусываешь от своего горя кусочек и даешь его поддержать кому-то, кто крепче стоит на ногах.

Но поделиться оказалось невозможно – язык стал чужим, я могла только издавать гласные звуки – наверное, это было похоже на речь первобытного человека. Неважно – я, может быть, и взглядом сумела бы рассказать все, только вот не находилось желающих меня послушать, принять на себя часть этой ноши.

Никто меня не навещал, врачи же относились ко мне как к бесчувственному куску мяса, они даже избегали смотреть мне в глаза. Нет, ухаживали за мною хорошо – никаких претензий. Три раза в день кормили через зонд, по утрам мыли, переворачивали, меняли памперсы.

Когда я уже потеряла счет времени, но по кусочку законного пространства поняла, что уже наступила снежная зима и город украсили новогодней иллюминацией, старшая медсестра поставила на мою тумбочку какой-то тюбик и сказала, что это швейцарская антипролежневая мазь, больнице выделили всего ничего, рекламная акция какой-то фирмы, и она решила помочь мне, потому что я одинокая. Если бы я могла заплакать в тот момент, я бы это сделала.

Просыпался я с тяжелым сердцем. Каждое утро ощупывал ноги, руки, несколько раз подпрыгивал у кровати. Какое чудо, это всего лишь сон, мрачный повторяющийся кошмар. Пусть у меня не получается от него отделаться, пусть даже сильное снотворное не помогает, но зато каждое утро я будто бы заново рождаюсь, обнаруживая настоящего себя – молодого, полного сил, красивого мужчину. Может быть, из-за этих снов я больше внимания начал уделять телу – мне хотелось чувствовать себя гибким, быстрым, способным высоко подпрыгнуть, сделать сальто, упасть в группировке и, как упругий мяч, отскочить от земли. Мне хотелось быть неуязвимым воином.

По утрам я тренировался в парке, по вечерам пересматривал азиатские боевики. Некоторые сцены – сотни раз, на замедленной скорости, пытаюсь копировать движения актеров. Я подтянулся, тело стало сухим и крепким, взгляд – спокойным и жестким, походка – бесшумной, как у дворового кота.

Однажды на утренней пробежке со мною поравнялся незнакомый мужчина лет пятидесяти с небольшим – вида довольно невзрачного, но отличавшийся той особенной пластикой воина, к которой я и сам стремился. Некоторое время мы просто бежали молча, плечо к плечу, потом он заговорил, и я обратил внимание, что его дыхание остается спокойным, несмотря на нагрузку.

– Я давно наблюдаю за тобой. Если хочешь, могу научить кое-чему. Завтра в половине пятого утра, на этом же месте. В последний раз я учил кого-то сорок лет назад.

И убежал, оставив меня обескураженным.

Остаток дня я сомневался – не приснилось ли все мне? Маловероятно – последние полгода я не видел иных снов, кроме как тех, в которых был парализованной несчастной женщиной по имени Елена. С другой стороны, мужчина из парка не походил на обычного человека, и чем больше деталей его наружности рисовала мне память, тем больше я утверждался в этой мысли. У него не было запаха. Он столько километров пробежал по парку и даже не вспотел. У него было спокойное дыхание. И у него был такой взгляд, словно ему уже двести лет, а тело – молодое. Он не проявлял агрессии, но выглядел опасным.

На следующий день я пришел в парк в полпятого, как он и просил, чувствуя себя отчасти инфантильным дураком, который верит в глупые сказки. Но незнакомец уже ждал меня. На нем был простой черный спортивный костюм. Увидев меня, мужчина не удивился – поприветствовал меня коротко и сказал: «Сначала – мы пробежим километров двадцать, я посмотрю, насколько ты вынослив. Потом приступим к тренировке».

Я спросил, как его зовут, но он ответил, что это совершенно неважно, так как дружить со мною он точно не собирается.

Так у меня появился учитель. За тот год, что мы вместе провели, я так почти ничего о нем и не узнал. Видимо, он был намного старше, чем могло показаться, – иногда он упоминал какие-то события чуть ли не довоенного времени, вспоминал людей, которых давным-давно растворила старость.

Я знал, что мой учитель считает себя бессмертным. Знал, что он почти ничего не ест, спит максимум три часа в сутки и никогда не занимается любовью. Он был бесстрастным и мудрым, и все время говорил странные, с точки зрения обычного человека, вещи. Например, говорил, что истинная сила обретается полным отказом от ее применения. Говорил, что стоит стремиться только к знаниям, понимание же – придет само; что максимальная награда ждет того, кто работает вообще без жажды результата.

Мы занимались каждый день, в любую погоду. Первые два месяца были самыми сложными – мы работали над моей выносливостью. До встречи с Незнакомцем (мысленно я обращался к нему именно так) я наивно полагал, что нахожусь в хорошей спортивной форме. Но по сравнению с ним оказался жалким слабаком.

На некоторых тренировках мне хотелось заплакать от бессильной злобы – казалось, что никогда, ни при каких обстоятельствах, я не смогу обрести и сотой доли его способностей. Незнакомца веселили мои сантименты – сочувствовать он то ли не любил, то ли просто не умел. Он учил меня правильно дышать и не ощущать боли.

Однажды он сказал, что, если я буду продолжать есть мясо, он исчезнет из моей жизни навсегда. Через какое-то время я почти перестал чувствовать себя человеком. Мы были двумя волками – я и мой учитель. Только добычей, за которой мы охотились, было бессмертие, а не кровь.

Он рассказал мне о трех завесах, которые ограждают людей от понимания мира. Большинство из тех, кто увлечен мирской суетой, кто каждый день ходит в офис и принимает все это близко к сердцу, кто пытается найти свое место во всеобщей матрице – создать гетеросексуальную семью, как минимум каждую неделю заниматься сексом, и как минимум каждый год выезжать на пляж, прочесть это и это, купить то и то, мечтать о таком-то, а вот такое-то – считать по умолчанию аморальным, – находится за самой первой завесой, завесой Профанов. Если вырваться за ее пределы, можно увидеть мир настоящим, как в фильме «Матрица». Но этого недостаточно. Следующая завеса ограждает странника от Гармонии. Если у тебя хватит сил пересечь последнюю завесу – перед Бездной, – перестанешь быть человеком и присоединишься к богам.

Я привязался к нему, как к родному отцу, и мне было стыдно за это чувство, потому что Незнамец говорил, что любовь к миру может ощутить лишь тот, кто перестал любить отдельных людей. Мне так хотелось быть на него похожим. Больше всего на свете я боялся, что настанет день, когда он исчезнет из моей жизни и я уже никогда не смогу его отыскать.

Он научил меня спать на холодной земле и при этом высыпаться так качественно, словно я провел ночь в объятиях пуховой перины. Конечно, я рассказал ему о моих странных снах, о чужих воспоминаниях, о женщине по имени Елена, которая жила где-то глубоко внутри меня и которая меня так жестоко мучила. Незнамец выслушал, нахмурившись, а потом сказал, что я очень сильно разочаровал его, потому что бессилен тот, кто не умеет контролировать сны.

И через полгода Елена перестала появляться в моем сознании.

А однажды настал тот день, которого я и боялся, и ждал. Это случилось в конце марта – уже пахло солнцем, сугробы почернели и скукожились, как умирающие медузы, но ветер был еще ледяным, и люди были одеты по-зимнему. Мы же с Незнакомцем носили простые спортивные костюмы, наша кожа чувствовала лишь прикосновение воздуха, но никогда не воспринимала его как жар или холод.

В то утро, едва увидев Незнакомца, я сразу подумал: что-то произойдет. Он специально не учил меня тонкому искусству предчувствия, оно окрепло само собою – просто в какой-то момент я начал ощущать свое тело и сознание сложнейшим идеально настроенным механизмом, алхимической гармонией взаимосвязей.

У меня упало сердце, но я попытался сохранить бесстрастное выражение на лице – однако, конечно, Незнамец заметил мою тревогу. В тот день я впервые увидел его улыбку. Удивился – и вдруг понял, что его эмоциональная отстраненность не имела ничего общего с холодностью, как мне иногда казалось. Это была отстраненность человека, познавшего сотни тончайших оттенков чувств, человека, чье восприятие настроено намного более тонко, чем у большинства, – настолько тонко, что все понятные среднестатистическому человеку чувства он отвергал, как гурман отвергает жареную в прогорклом жире картошку из придорожного кафе.

– Дальше ты пойдешь один, – сказал он. – Я научил тебя почти всему, что умею сам. Когда я встретил тебя, ты был обычным человеком – разве что чуть более нервным и амбициозным, чем следовало бы. Ты, конечно, не стал таким, как я. Однако мой путь – это почти сотня лет, твоему – нет еще и года. Я научил тебя не чувствовать холода и боли, прыгать с большой высоты, падать на землю и не ломать кости, драться так, как дерутся боги, быть легким и сильным. Осталось самое последнее. Сегодня ты видишь меня в последний раз, и я буду учить тебя летать.

– Что? – растерялся я. Я ожидал все, что угодно, только не это.

– Неужели я тебя переоценил? – Улыбка исчезла с его лица. – Если ты отказываешься, мы простимся прямо сейчас.

– Нет, нет! – вскричал я.

– Ну вот и хорошо. Значит, идем. Бегать сегодня не будем, тебе понадобятся все твои силы.

Я удержался от вопросов – знал, что лишние разговоры кажутся ему шелухой. Он привел меня к обычной многоэтажке на краю парка, в котором мы тренировались столько дней. Вслед за ним я вошел в обшарпанный подъезд, лифт вознес нас на самый последний этаж, и там, все так же молча, Незнамец поднялся по шаткой металлической лестнице, ведущей на крышу, которая оказалась не заперта.

Я следовал за ним. Мне было немного страшно. Я не мог поверить в прямоту фразы – «я буду учить тебя летать» – и надеялся на подтекст. Например, что речь идет об осознанных сновидениях или хотя бы затыжном парашютном прыжке. Он спиной почувствовал мой страх и тут же обернулся:

– Я не хочу тебя заставлять. Ты можешь отказаться в любой момент. Это ничего для меня не значит.

Мне стало немного обидно. Да, я эволюционировал, но от привязанности к Незнакомцу избавиться так и не смог. На тренировках я часто пытался найти хоть нотку одобрения в его взгляде, устремленном на меня. Мне бы хотелось, чтобы он мною гордился, чтобы смотрел на меня, как отец смотрит на сына:

– Я не остановлюсь.

– Хорошо. Тогда ты должен лечь. Я объясню, что делать дальше.

Я послушно улегся прямо на крышу. Она была вся в снегу. Незнамец наклонился над мной и пристально посмотрел в мои глаза. У него был странный цвет глаз – в иные моменты мне казалось, что они серые, но сейчас я видел только черноту. Он молча смотрел на меня, и я послушно ждал, что будет дальше. Месяцы, проведенные рядом с ним, научили меня ценить молчание. Перебивать чужое молчание столь же неприлично, как и перебивать чужой разговор.

– Ты уже понял, что потолок существует только для тех, кто не в состоянии увидеть небо, – наконец заговорил Незнамец. – Для тех, кто не чувствует себя в безопасности, когда

не видит границ. Я надеюсь, что ты либо перешагнул то состояние, когда без потолка невозможно жить, либо вот-вот это сделаешь. На самом деле мир – это иллюзия, большая голограмма. Почему одни люди уже в тридцать лет похожи на кучу мусора, а у других и в семьдесят свежий взгляд и дыхание тоже свежее? Потому что времени не существует! Эти люди просто живут в разных измерениях. Первые проматывают минуты, а вторые – смакуют их. Почему один человек может сделать сальто назад, а другой – испугаться? Нет, дело не в возможностях тела. Тело же всегда следует за сознанием. Почему один человек никогда не болеет, а другому стоит посидеть под кондиционером – и он весь в соплях? Да потому что не существует никакой реальности – все только в голове. Ты это уже понял. Но на практике еще не применял. Это и неважно. Понимание – девяносто процентов успеха. Ты же, надеюсь, усвоил разницу между знанием и пониманием?

Я хотел кивнуть, но тело не слушалось. Стало каким-то тяжелым, как будто я весил триста килограммов. Слова Незнакомца погрузили меня в транс, мир сузился до одного его лица. Ничего больше не существовало и ничто не имело значения – кроме слов, которые он говорил мне.

– Помнишь твоё первое двойное сальто? Ты говорил, что не сможешь. Ты не акробат, у тебя никогда не было такого опыта. Тебе было страшно. Тебе так хотелось мне доверять, но какая-то часть тебя все равно боялась, что сейчас ты сломаешь шею. Мы тысячу раз прокрутили этот прыжок в воображении. Я точно знал, что ты готов, что ничего с тобой не случится. И у тебя все получилось. Двойное сальто, с самого первого раза. Полет – то же самое. Сейчас тебе кажется, что это невозможно. И какая-то твоя часть боится, что ты просто сорвешься с крыши и упадешь. Но если ты будешь верить мне, будешь со мной до конца, этого не случится. Ты просто станешь другим – тем, кто больше никогда не увидит потолок вместо неба.

Я молчал. Все мысли куда-то испарились. Я знал, что Незнакомец владеет техниками гипноза. Я просто смотрел на него, я видел его спокойное лицо и низкое серое небо за его головой, я не мог пошевелить даже пальцем.

– Понимаю. – Он словно подслушал мои мысли. – Я нарочно это сделал. Сейчас ты должен преодолеть себя и подползти к краю. Это будет трудно. Мы с тобой часами бегали, я заставлял тебя бежать до тех пор, пока сознание не покидало тебя. Но это все равно не было так трудно, как будет сейчас. А когда ты подползешь к самому краю, все, что будет нужно сделать дальше, – не остановиться. В том числе в мыслях. Просто сделать это. И тогда ты полетишь. Ты станешь одним из нас.

Впервые Незнакомец употребил загадочное «мы» по отношению к себе, а я даже не мог спросить у него, что это означает, кого он имеет в виду.

Он отошел, и я понял, что слов больше не будет. Мое тело было каменным, я ощущал себя Сизифом, не вполне понимающим, есть ли в его ноше смысл. С большим трудом я перевернулся на живот – давно мне не приходилось чувствовать себя таким усталым.

Я знал, что Незнакомец смотрит на меня. Очень хотелось остановиться, перевести дух. Но я понимал, что этого делать нельзя. Подтянувшись на руках, я пополз. Каждое следующее движение давалось тяжелее предыдущего. От края крыши меня отделяло каких-то десять метров, но их преодоление стало самым сложным испытанием в моей жизни. Я чувствовал тремор мускулов, я чувствовал, как крупная капля пота щекочет щеку. В глазах потемнело, изо всех сил я цеплялся мутным сознанием за реальность, чтобы не упустить ее, не провалиться в темную яму. И вдруг возле уха прозвучало: «Молодец. У тебя все получится».

Кажется, это была первая похвала, которую я услышал от Незнакомца, и она придала мне сил. Теперь я точно знал – он не подведет. Я сделаю это. Мне бы только доползти, и, без тени сомнения, вопреки всем законам привычной физики, я устремлюсь вверх. Я доверял Незнакомцу, как малыш доверяет матери, которая зовет его к себе. Чувствовал себя под его защи-

той. И вот наконец мои руки уткнулись в невысокий бортик, за которым крыша заканчивалась и начиналась пустота.

Подтянувшись на руках, я взглянул вниз – земля была далеко-далеко. Почему-то мне не было страшно. Одним рывком я преодолел последний барьер и полетел. Внизу раздался чей-то истошный визг, но мне было все равно – впереди было только небо.

– Убилась! Убилась!

– Позовите кто-нибудь врача, тут же больница! Из какого корпуса она выпрыгнула? Из неврологии что ли?

– Да какой, на хрен, врач, она же мертвая: смотрите, сколько крови...

Вокруг распластавшегося на асфальте тела собиралась толпа. Из окна выпала женщина – немолодая женщина с усталым лицом, одетая в больничную ночную рубашку. От удара об асфальт тело ее приняло форму свастики – руки и ноги были согнуты под неестественным углом; на грязном снегу расплзлась лужа темной крови.

Некто в хирургическом костюме, растолкав толпу, протиснулся к ней, присел на корточки возле, запустил руку в окровавленные рыжие волосы, попытался найти пульс, предсказуемо не нашел, нахмурился, покачал головой. Он выглядел скорее удивленным, а не расстроенным.

– Но как же это вообще могло произойти... Она же была полностью парализована... Ее кровать находилась далеко от окна. Она даже рукой не могла пошевелить – как же ухитрилась поползти до подоконника?

Лицо мертвой женщины казалось спокойным, безмятежным и даже, пожалуй, красивым. Не было в нем ни страха, ни невротического предвкушения желанной кончины, ни переживания боли – ничего, что делает мертвые лица такими страшными для живых. Только потусторонняя красота и ясная уверенность в том, что все впереди.

Красная шапочка

(Новая старая сказка)

Мать сказала семнадцатилетней Дарье:

– Съезди в бабушкину квартиру, заведи шкатулку с украшениями, а то моя сестрица опомнится после похорон и завтра же утром примчится за ними. Как пролежни матери протирать, говно выносить и выслушивать упреки, так она, видите ли, занята в офисе. Если такая занятая, могла бы и сиделку нанять. Но нет, все мне пришлось делать, мне одной. А как золото делить, так она первая. Уже спрашивала, не знаю ли я, где брошка с топазом? Ей на память, видите ли. Смешно. Какая, скажи на милость, память? Она же мать не выносила, общались как кошка с собакой последние лет пять! На память я ей распечатаю фотографию. Вот ей, – и женщина потрясла перед усталым лицом Дарьи красными обветренными пальцами, сложенными в кукиш. – Возьми на тумбочке ключи и ступай немедленно. Шкатулка у бабушки в комнате, в верхнем ящике трюмо... Да, и если что еще захочешь взять, не стесняйся. Завтра все растащат.

Дарья устала до слабости в коленях, но послушаться мать не решилась. Было холодно и тошно. Длинные, как сама вечность, дни. Накануне в пять утра девушку разбудил короткий резкий звонок телефона – еще не окончательно стряхнув морок сна, она поняла, что случилось что-то плохое. Таким тембром и в такое время звонит только Смерть. Это она и была – голосом Дарьиной матери. Ничего неожиданного.

Бабушка последние восемь месяцев провела прикованной к постели – неоперабельная опухоль печени, медленно угасание, и последние дни ее лечащий врач настоятельно советовал договориться с похоронным агентом заранее.

Последние недели мать оставалась на ночь в бабушкином доме. Метастазы проросли в мозг и уничтожили гигабайты информации, копившиеся годами, – бабушка стала пустой и наивной, как младенец. Ей было обидно и страшно спать одной. Она начинала плакать – не тихо и горько, как это делают взрослые, а протяжно, во всю силу охрипшего горла.

Соседи сначала сочувствовали, а потом начали жаловаться и угрожать принудительной психиатрической госпитализацией. Их тоже можно было понять – утром на работу, а за стеной часами воют, да так страшно. Счет шел не на недели, на дни – и все равно, когда мать позвонила на рассвете и произнесла короткое: «Ну, всё», у Дарьи сжалось сердце. Надежда на чудо – опора идиотов, подумала она.

Она хотела сразу же поехать к бабушке, но мать запретила вызывать такси – и так на похороны куча денег уйдет. Пришлось дожидаться открытия метро. Когда она появилась на пороге, бабушку уже увезли.

В глубине души Дарья обрадовалась – ей было бы не по себе подойти к бабушкиной постели и увидеть ту мертвой, Мертвое лицо на старомодной знакомой наволочке в мелкий цветочек. Мать сначала целый час названивала то одному, то другому, потом ругалась с родной сестрой по поводу поминок, потом они вместе ездили в бюро ритуальных услуг покупать гроб, венки и похоронные туфли, потом заказывали отпевание.

Утром следующего дня состоялись и похороны. Быстро – потому что место на кладбище уже было, а бабушкины друзья давно лежали в могилах – большие поминки собирать было бессмысленно. Дарья решила не смотреть на бабушку в гробу, отвести глаза, но когда все по кругу шли прощаться к гробу, не выдержала.

Гример поработал хорошо – мертвая бабушка выглядела лучше, чем в последние дни жизни. Ровный цвет лица, даже румянец, подкрашенные губы склеены в полуулыбке. На бабушке было платье, которое давно покойный дед подарил ей еще в семидесятые, –

из постреливающей плотной синтетической ткани, цветастое, в пол, как было модно в те годы. Бабушка его любила и берегла. В морге спросили: «А вы уверены, что в таком пестреньком хорошо будет? Обычно темное приносят». Но мама и Дарья настояли на своем – плевать на условности, хоронить следует в любимом и лучшем.

Пожилой священник ходил вокруг гроба, помахивая кадиллом, из которого поднимался густой ароматный парок. Дарье было нехорошо в духоте, она не поняла ни слова из тягучей речи священника.

Потом гроб погрузили в старенький пыльный автобус, и по дороге на кладбище ей пришлось заткнуть уши плеером, потому что от набирающей обороты ссоры между матерью и ее сестрой хотелось завывать. Так было всю жизнь, сколько Дарья себя осознавала, – разве что глаза друг другу не выцарапывали. Иногда она молилась Богу, в которого не особо верила, – спасибо, мол, что хотя бы у меня нет ни братьев, ни сестер и мне некого так отчаянно ненавидеть. Потому что ненависть выжигает душу, и Дарьяна мать была живым доказательством тезиса. Она родилась и росла красавицей, но уже к сорока даже глаза ее побелели и выцвели, даже волосы стали какими-то пегими и тусклыми, а кожа – желтоватой и тонкой, как будто бы кто-то уничтожал ее слой за слоем изнутри.

Первый ком земли бросила мама, затем – ее сестра, потом дошла очередь и до Дарьи. Земля была рыхлой и влажной, с глухим стуком комки упали на крышку гроба. Какое-то время присутствовавшие молча постояли над могилой, потом мать кивнула нанятым парням с лопатами, и те за несколько минут забросали зияющую яму землей.

Поминки запомнились руганью, что было вполне предсказуемо, – Дарья давно овладела искусством отсутствия. Тело ее сидело за столом, лицо сохраняло выражение вежливой доброжелательности, она могла даже улыбнуться, сказать что-то вроде «да», «нет» или «передайте, пожалуйста, хлеб», но мысли ее были где-то далеко-далеко.

И вот наконец все закончилось, и они вернулись домой на метро, и все, что хотелось Дарье, – постоять четверть часа под струями горячей пахнущей хлоркой воды, а потом забыться сном, но мать вручила ей ключи и велела забрать шкатулку. И в глубине души Дарья понимала, что доля правды в этой просьбе, которая со стороны могла показаться шакальей, была. Бабушка хотела бы, чтобы ее скудное, но все-таки золото досталось ей, Дарье. И ее матери. А не второй сестре, которая почти никогда не появлялась в ее доме.

В метро Дарья читала какую-то книгу – машинально, чтобы не уснуть. Прогуляться несколько кварталов до бабушкиного дома было даже приятно, несмотря на то, что моросил дождь. По дороге она зачем-то купила сигарет и, остановившись под козырьком какого-то подъезда, подошла одну и сделала несколько неумелых коротких затяжек. Дарье было семнадцать, и сигарета воспринималась опорой, символом взрослости и даже почти спасательным кругом.

У бабушкиного подъезда встретила соседку, та поохала, промокнув сухие глаза краешком рукава. «Отмучилась, несчастная, царствие ей небесное!»

Ключ вошел в замок, но поворачиваться не хотел – что-то ему мешало, как будто дверь была заперта изнутри. Дарья заметила, что в дверном глазке – свет, и устало вздохнула. Неужели мать недооценила свою сестру, неужели та не поленилась приехать за драгоценностями сразу после поминок? Да ладно бы еще это были настоящие «драгоценности», но то, чем владела бабушка... Это просто смешно.

Немного потоптавшись под дверью, борясь с желанием развернуться и уйти, она все-таки надавила на звонок, и тот задребезжал под ее пальцем. В коридоре послышались шаркающие шаги, и Дарья нахмурилась – звук показался ей смутно знакомым, и это совсем не было похоже на походку маминой сестры, сухощавой энергичной женщины, в облике и повадках которой проглядывало что-то птичье.

Глазок потемнел, Дарья показала ему язык, зная, что тусклая лампочка освещает ее сзади, значит, выражение лица сокрыто мраком, различим лишь силуэт.

Наконец дверь осторожно открылась, и Дарья оказалась нос к носу... с бабушкой.

В первый момент она скорее удивилась, чем испугалась, – как же так, что это за чертовщина?

На бабушке был байковый халат, очки, войлочные тапочки, лицо ее выражало растерянность. Но этого никак не могло быть. Во-первых, бабушка была больна, она не только не ходила, но в последний месяц даже не могла сесть и откинуться в подушки – так и лежала бревном. Во-вторых, Дарья была на ее похоронах. Она подходила к гробу, она видела бабушкино неестественно нарумяненное мертвое лицо. У разверстой могилы гроб открыли в последний раз. Затем Дарья видела, как крышку приколотили массивными гвоздями. Она сама бросила горсть земли. Она стояла у могилы до тех пор, пока на ней не вырос холмик, на который они положили еловый венок с вплетенными в него пластмассовыми пионами и лентой с пошловатым «Любим и помним».

Самое рациональное объяснение – она, Дарья, сошла с ума. Почти не спала двое суток, вот и начались галлюцинации. Или... Нет, никаких «или». Не могла же бабушка пробить кулаками гроб, выбраться из могилы, попутно исцелившись, вернуться домой и пить вечерний чай как ни в чем не бывало. А сестры-близнеца у нее не имелось.

Все эти мысли за одно мгновение промелькнули в голове побледневшей Дарьи.

– Дашенька? – Бабушка беспомощно похлопала ресницами и отерла влажные руки о подол халата. – Что-то случилось? Почему ты так поздно?

– Я... Ты... – Дарья попятилась.

– С мамой поругалась, что ли? Она хоть знает, где ты?.. Да ты проходи, что на пороге стоять!

На подкосившихся ногах Дарья вошла в знакомую квартиру, в которой по необъяснимой причине больше не пахло тяжелой болезнью – лекарствами, мочой, которой пропитался матрас, дешевыми ароматическими свечками, которые были куплены, чтобы перебить все прочие запахи, но от них стало только гаже. Нет, теперь здесь стоял запах жареного теста – до болезни бабушка любила чаевничать по ночам, поджарив кучку оладьев, и плевать ей было, что врачи ругают ее за повышенный холестерин. Чтобы не упасть без чувств, Дарье пришлось ухватиться за стену и сползти по ней на пол. В глазах было темно.

Бабушка выглядела не менее испуганной, чем она сама:

– Даша... Что случилось?! Тебе нехорошо? Ты не пила?

– Нет... – побелевшими губами пролепетала она. – Нет, все в порядке, только вот...

– Только вот что? – Бабушкино лицо было совсем близко, и Дарья потянула носом: нет, никакой мертвечины, никакого ладана, земли и воска, обычный бабушкин запах.

Вдруг ей в голову пришла идея:

– Какое сегодня число?

У бабушки вытянулось лицо:

– Дашенька, ты что-то приняла? Это наркотики, да?

– Ничего я не принимала. Ответь, какое число?

– Девятое октября, конечно, – растерянно ответила бабушка. – Может быть, вызвать врача? Хочешь, я позвоню твоей матери?

Девятое октября. День, когда ее похоронили. А восьмого Дарьяна мать стала свидетелем ее последнего вдоха. В свидетельстве о смерти так и написано: дата смерти – восьмое октября.

Дарья расшнуровала ботинки, сняла куртку. Несмотря на сюрреализм происходящего, она отчего-то не чувствовала себя в опасности. Все же перед ней была ее бабушка, знакомое родное лицо.

Девушка прошла в кухню – на столе стояла тарелка с горкой оладушков. Разве мертвые умеют печь тесто? Бабушка поставила чайник. Дарья вспомнила день, месяцев четырнадцать назад, когда она вместе с матерью вот так же вечером сидела на этой же кухне, а бабушка под-

ливала им чай и говорила, что такая опухоль в наши дни – не приговор, что выкарабкиваются люди, которым повезло куда меньше, а у нее всего вторая стадия, и семьдесят лет – не «возраст», и вообще – самое главное позитивный настрой. Дарья следила за бабушкиными руками – вот та моет чашку, насыпает заварку из банки, добавляет сначала кипяток, потом сахар...

Ногти у бабушки были длинные и какие-то желтые. Это показалось Дарье странным. Бабушка всегда стригла ногти под корень, она и в молодости не отличалась склонностью к самоукрашательству. У нее было всего одно нарядное платье – в котором ее и хоронили.

«Хоронили» – мелькнувшее в сознании слово отозвалось холодком под ложечкой.

Бабушка поставила перед ней чашку, положила вишневое варенье в одну пиалу и сметану – в другую. Дарья любила так с детства – отламывать от оладушка по кусочку и макать их сначала в сметану, а потом – в варенье, но только чтобы две субстанции не смешивались.

Оладьи были вкусные, ноздреватые, и Дарья вдруг осознала, что нечеловечески голодна, – в последние дни кусок в горло не лез, и она перехватывала что-то машинально, чтобы поддержать силы. Бабушка сидела напротив и с умилением смотрела, как она ест. И, как обычно, приговаривала:

– Вот как навораживает, как будто дома ее не кормят. И неудивительно, что отошала так. Была таким пончиком, кровь с молоком, а стала скелетиной.

Монотонная речь и теплое тесто имели эффект усыпляющий – веки Дарьи словно теплой кровью налились, захотелось хоть несколько минут вздремнуть, привалившись головой к стене, она несколько раз зажмурилась и затем открыла глаза, чтобы согнать сон. Бабушкины глаза блестели в полумраке.

Дарье хотелось и понять, что происходит, и подольше остаться в том альтернативном мире, где бабушка жива. Ей было не по себе – и от того, что она сидит в этой кухне и кусок за куском кладет жареное тесто в рот, и от того, что все это может в любой момент исчезнуть так же необъяснимо, как и появилось.

– Дашенька, да что с тобой сегодня? – Бабушка слишком хорошо ее знала, умела читать по ее лицу. – Я ведь вижу, ты расстроена.

– Ба... А у тебя когда-нибудь было так, что ты не понимаешь, спишь ты или нет?

– Что ты имеешь в виду?

Даша залпом допила переслащенный чай, но вот рту все равно было сухо:

– Ну вот например... Умер кто-то, а на следующий день ты встречаешь его живым и веселым. И не можешь понять, что неправда – то ли тебе сон дурной про его смерть приснился, то ли ты так страстно желал вернуть мертвого, что сошел с ума? Вроде бы, и то настоящее, и это. Но не могут же обе такие вещи настоящими быть...

Бабушкин взгляд уткнулся в изрезанную, выцветшую и неоднократно прожженную папиросами давно покойного деда скатерть. Она вздохнула так печально, что Дарье на какое-то мгновение показалось: а ведь бабушка понимает все.

– Было у меня однажды такое... Только вот дело очень уж давнее, молодая я была.

– Расскажи! – потребовала Дарья.

Бабушка как-то вся сжалась и скукожилась, как будто бы была пластилиновым человечком, способным принять любую форму.

– Ба... Ну пожалуйста!

– Да в сорок втором году это было, что сейчас и вспоминать... Вообще жизнь другая была. В деревне нашей не осталось почти никого. И вот однажды пришли они, Их было немного – может быть, десять человек. Молодые все такие, холеные, выбриты гладко, в новеньких шинелях. Смеялись, а зубы у всех белые. Я давно смеха человеческого не слышала. С тех пор, как из мужчин в деревне остался только калека-конюх. Мы с подружкой спрятались за сеновалом, подсматривали за ними. Молодые парни, красивые, все светленькие. Мне пятнадцать лет было, а подружке моей – восемнадцать уже... Они о чем-то разговаривали,

как будто бы и не было никакой войны. Как будто в сельский клуб на танцы пришли. И вдруг один из них взял и в корову выстрелил. Корова там стояла, уже не помню, как звали ее. Соседская. Она повалилась на бок, как мешок с мукой. А они продолжали болтать. Просто так убили ведь, шутки ради.

То ли куда-то не туда попали ей, то ли она жить хотела – очень долго в судорогах билась. А они даже не смотрели на нее. И я поняла, что если мы прямо сейчас, немедленно, не убежим в лес – как есть, босиком, – то нас, как эту корову, пристрелят. И всех остальных тоже перебьют, и мы уже ничего не сможем сделать. Они по деревне пошли. Мы услышали еще выстрелы. Я говорю подружке: бежим! А она почему-то упираться начала. Говорит: мол, ну и куда же мы там денемся, ночи уже холодные, мы замерзнем насмерть, а они, может, нас и не тронут. Возьмут еду и уйдут своей дорогой, на кой мы им сдались. Я ее за руку тяну, прямо возле нас корова бьется в пыли, никак душу выпустить на волю не хочет. Ну и нашу возню услышал один... Товарищи его уже вперед ушли, а он почему-то остался. Очень красивый был парень, я потом всю жизнь его лицо помнила. Я никогда таких не видела – как будто картинка ожившая. Высокий, плечи широкие, а глаза такие светлые, что белыми кажутся. Он в два прыжка рядом с нами оказался, мы глазами встретились, и я, сама не зная почему, улыбнулась ему. Знала, что враг он, но улыбнулась почему-то. А он как будто бы мимо смотрел. В его руке нож оказался вдруг – откуда взялся, я и не разглядела. Он одним движением полоснул, и вот уже подружка упала моя – как та корова, в пыль. Живот он ей вспорол. Но ей повезло больше, чем корове, – она сразу отошла. Может, и понять, не успела, что случилось. Я от них отпрыгнула, а он уже ко мне идет, и нож блестит в его руках... Ну и не знаю, что на меня нашло. Я никогда боевитой не была. Обычная девчонка, от горшка три вершка... Как будто бы кто-то подсказывал мне, что делать. Я к стене отбежала, там вилы стояли – схватила их и ткнула в него. Может, не ожидал он, что девчонка отпор даст, а может, повезло просто мне. Я никогда раньше не думала, что это так просто и быстро – человека убить. Что такие мы, люди, хрупкие. Вилы в него вошли как в масло. Помню, он так удивленно и уже невидяще на меня взглянул, а потом у него изо рта кровь хлынула, темная, черная почти. Тут я вилы из рук выпустила и понеслась, дороги не видя. Понимала, что если поймают меня, то легкой смертью за такое не отделаться. Но никто за мною не гнался. И вот я добежала до леса, а что дальше делать – не понимаю. Ходила как в тумане. Вернешься – умрешь, останешься – тоже умрешь. Безысходность такая. Днем еще ничего было, а вот ближе к ночи окоченела я. Ног босых уже не чувствовала. Кое-как устроилась под деревом, умирать приготовилась. В голове так мутно было. Тело все тряслось – согреться пыталось. И вот я уже почти без сознания, и тут слышу – шаги. Я затаилась, смотрю из-за дерева... А уже смеркается, видно плохо. Но хорошо, что вечер ясный был и луна уже взошла. И когда я увидела, кто это идет, я не смогла крик в горле удержать... Выдала себя. Но мне было уже все равно... Тот солдат это был, которого я вилами проткнула. Сначала я подумала – обозналась, может быть. Может быть, просто похож. Они же все как на подбор были – высокие, плечистые, светловолосые. Как будто бы братья. Но он ближе подошел, и я ахнула – он, это был он, никаких сомнений. Те же беловатые глаза, та же родинка на щеке, тот же немного отстраненный взгляд. Он. Но живой. И шинель целая. У меня колени ослабели, я как подкошенная в мох рухнула. Голову руками прикрыла и зажмурилась, как при бомбежках. Поняла, что убьет он меня теперь.

Но ничего не происходило. Я глаза открываю – стоит. И смотрит на меня. Молодой совсем, серьезный мальчик, и кожа у него синеватая в свете луны. Я ему шепчу по-русски – отпустите, мол, меня. А он не понимает и отвечает что-то по-немецки. А потом вдруг свою шинель снимает и мне протягивает. Увидел, что я вся синяя от холода уже. Хотя я сама перестала что-то чувствовать – так перенервничала. Если бы не он и не его шинель – я бы точно не проснулась следующим утром... Я так подумала – может, провинился он чем и свои же его прогнали... Но я мало что соображала, от холода спать очень хотелось. И он с улыбкой

на меня посмотрел, а потом руку протянул и закрыл мне глаза ладонью – спи, мол. Сел рядом со мной, на мох. И приобнял меня. Мне пятнадцать лет было, и меня никогда раньше парень не обнимал. Это было последнее, о чем я подумала. Отключилась, как будто бы по голове меня ударили. Не знаю, сколько времени прошло, но проснулась я от того, что кто-то меня за плечо тряс. Открываю глаза, а надо мною мужики незнакомые склонились. «Откуда ты тут и взялась, одна в лесу и с мертвым немцем в обнимку?» – по-русски говорят. А я только глазами хлопаю, не понимаю ничего. Почему с мертвым, он же живой был, теплый, улыбался мне. И вдруг вижу – рядом что-то валяется, как будто бы тюк, и над ним мухи кружат. Пригляделась, а это он. Лежит лицом в землю. Кто-то из мужиков его сапогом перевернул. У него весь подбородок в запекшейся крови был и губы – изо рта кровь шла. И на шинели четыре черные дыры, от вил моих. Я мужикам честно все рассказала, а они пожалели меня. Дали воды и хлеба, отвели обратно в деревню. Те оттуда уже ушли, и я смогла вернуться домой. Но что это было, до сих пор не понимаю. Ладно, пусть мне привиделся солдат, но почему тогда его тело возле меня нашли? Он был уже мертвый, когда я убежала. И перенести не мог никто. До сих пор не понимаю. А зачем ты спросила, Дарюшка? Ты тоже мертвого увидела?

– Нет, ба, я так...

– Бледненькая ты и сонная. Вот что, домой уже поздно, да и волноваться я буду, если поедешь. Давай я тебе тут постелю.

Дарья вяло согласилась. Пройдя в гостиную, она отметила, что тут все изменилось – не было ни раскладушки, купленной специально для сиделки, ни пластиковой тумбочки, на которой стояли лекарства, ни штатива капельницы. Этот дом не был тронут болезнью; здесь царил тот особенный сорт уюта, который часто нравится старикам – ковер с проплешинами на стене, полированная «стенка», за стеклом которой – фарфоровые фигурки балерин и клоунов, на подоконнике, раскинув лапы, красовалась драцена в керамическом горшке.

– Я тебе на бывшем дедовом диване постелю, – суегилась бабушка.

Дарье уже было все равно – она даже почти смирилась с новой реальностью, в которой выходило, что она сошла с ума и пережила то, чего на самом деле никогда не случилось. Мелькнула ленивая мысль – а может быть, матери позвонить? Что она обо всем этом скажет? Но бабушка вдруг сказала:

– А мать твою я предупредила уже. Пока ты руки мыла. Она сказала, что ляжет пораньше спать, раз уж ты сегодня не придешь. Говорит, ты до ночи музыку слушаешь, мешаешь ей.

– Да ничего я не мешаю, у меня вообще наушники, – буркнула Дарья.

Наконец бабушка оставила ее одну, удалившись в дальнюю маленькую комнату, которая служила ей спальней. Дарья разделась до трусов и футболки и юркнула под одеяло. Удивительно, но едва у нее появилась возможность отдохнуть, сон как рукой сняло.

Ночь была ясная, молочный лунный свет падал на кровать. Она подумала, что надо бы встать и задернуть шторы, но вдруг что-то заставило ее обернуться к двери. Говорят, большинство людей могут чувствовать чужой взгляд, даже если им в спину смотрят. Вот и Дарья почувствовала. У двери в комнату была стеклянная створка – Дарья глянула, и ее словно током на кровати подбросило. С другой стороны двери, в темном коридоре, стояла бабушка, на ней была простая белая ночная рубашка, седые поредевшие с возрастом волосы раскиданы по плечам, а лицо – прижато к стеклу. Дарье показалось, что глаза у бабушки какие-то странные, белые, без зрачков.

Бабушка поняла, что Дарья заметила ее, медленно подняла руку и ногтями провела по стеклу. Голова ее как-то по-птичьи наклонилась набок, она напряженно опустила нижнюю губу, а верхнюю – наоборот, подняла, продемонстрировав два ряда крупных желтых зубов, как будто бы находилась в кабинете у протезиста. Не улыбнулась, не оскалилась угрожающе, а просто показала зубы.

«Она знала, с самого начала знала все, – промелькнуло в голове у Дарьи. – Все это был спектакль, она знала, что мертвая».

Бабушка не делала попытки войти в комнату, но и не уходила – так и стояла, прижавшись лицом к стеклу, и в упор смотрела на Дарью. Та перешла в другой угол комнаты – бабушкино лицо повернулось к ней.

Дарья вдруг вспомнила, что на кухонной двери есть замок – можно закрыться изнутри. Только вот как попасть в кухню, если *она* – прямо возле двери, как мимо *этого* пройти? А с другой стороны, если *она* хочет Дарью атаковать, почему же ничего не делает, почему просто стоит и смотрит? В конце концов, девушка решила, что бездействие разрушает ее намного больше любого необдуманного поступка.

Зачем-то вооружившись хрустальным графином, взяв его за тонкое горлышко, как гранату, она на цыпочках подкралась к двери. Белая тень бесшумно метнулась куда-то вбок, мертвая бабушка то ли уступила ей дорогу, то ли манила в ловушку, причем второе было похоже на правду куда больше, чем первое. Затаив дыхание и держа графин, который был скорее психологической защитой, таким атрибутом позы воина, на вытянутой руке, она открыла дверь и осторожно выдвинулась в коридор.

Никого.

Кухня всего в двух шагах, и нервное напряжение подобно ковру-самолету в прыжке пронесло Дарью над паркетом. Через секунду она уже плотно закрыла дверь кухни и заперла ее на замок. Сердце колотилось как у марафонца. Что делать дальше, Дарья не понимала. Взять нож? Высунуться в окно и позвать на помощь прохожих? Попробовать кинуть какую-нибудь чашку в окно соседей в надежде их привлечь? Просто тихо ждать рассвета?

Она решила до кого-нибудь докричаться. Окна кухни выходили на улицу, на которой, несмотря на поздний час, случались прохожие. Дарья щелкнула выключателем, кухню залил мертвенный свет энергосберегающей лампочки. И сначала девушка боковым зрением отметила какое-то копошение и только потом подняла взгляд и увидела ее. Бабушку.

Та сидела на подоконнике, скрючившись и прижав колени к груди, ее ступни почему-то были все в комьях земли. Смотрела она прямо на Дарью, а когда поняла, что и та ее видит, снова широко открыла напряженные растянутые губы, при этом оставив зубы сомкнутыми. Первым импульсом было выбежать из кухни – там ведь уже близко входная дверь, но почему-то Дарья понимала, что не стоит делать этого сейчас, не стоит поворачиваться к *этой* спиной, безопаснее – остаться. Она попробовала успокоить дыхание и несколько раз сглотнула, отгоняя подступившую тошноту.

– Бабушка... – прошептала она. – Что же ты... Как же ты так...

Старуха не ответила и даже не пошевелилась, так и сидела на подоконнике, словно мумия застывшая. Но Дарье показалось, что она прислушивается.

– Я ведь поэтому и была нервная... Ты спросила, что со мной... А я же тебя вот только что похоронила. Горсть земли на гроб бросила...

Звук собственного голоса немного ее успокоил. Дарья подумала – а что, если такое вот естественное поведение успокоит *это*? И если она не будет показывать страх, может, и *она* – то, что приняло форму ее бабушки, – останется неподвижным до рассвета.

Она вдруг увидела на столе тарелку с недоеденными оладушками; взяла один, откусила. Бабушка-бабушка, почему у тебя такие длинные желтые ногти? Бабушка-бабушка, почему твои ноги перепачканы землей? Бабушка-бабушка, а глаза твои отчего белы?

Несколько часов спустя, когда небо уже посветлело, на другом конце Москвы мать Дарьи вдруг проснулась от странного и неприятного ощущения. То ли сон дурной, мгновенно забытый, то ли промелькнувшая депрессивная мысль... Так бывает, когда, уже отойдя от дома на приличное расстояние, вдруг вспоминаешь, что забыл выключить утюг.

Она села на кровати, потерла виски, потом, накинув на плечи старый халат, доплелась до кухни, попила воды. Сразу поняла, что Дарья дома не ночевала, – но это как раз не было чем-то особенным. Семнадцать лет, возраст, когда дом кажется тюрьмой. В последнее время дочь часто уходила вечерами – все время говорила, что ночует у подруги, и даже предлагала позвать к телефону подружку мать, но женщина отмахивалась, потому что некогда была школьным учителем и прекрасно знала, как бесперебойно работает детская сеть лжи и взаимовыручки.

Она прошла в комнату дочери – кое-как заправленная постель, стаканы с недопитым соком на полу, скомканные конфетные фантики, весь стол завален учебниками и бумагами. Почему-то именно в то утро ей стало страшно за дочь. Она пыталась отогнать это ощущение – приготовила нехитрый завтрак, начала читать какой-то бульварный роман, но уже через несколько минут с досадой отложила книгу и отодвинула недопитый кофе. Нарастающее чувство тревоги словно изнутри ее обглаживало. Набрала номер дочери – абонент временно недоступен. Тоже ничего удивительного – Дарья имела привычку отключать телефон на ночь.

Наконец мать решилась: надо ехать. Собралась за несколько минут, стянула пегие волосы в хвост. Уже уходя, с почти вошедшей в привычку досадой посмотрела на свое отражение в пыльном зеркале прихожей. Она ведь когда-то красавицей считалась. Недолго – время с особой жестокостью расправилось с ее чертами, но все-таки.

Ей казалось, что поезд метро движется особенно медленно, – так всегда бывает, когда торопишься. К концу пути женщина уже была готова взорваться от раздражения.

И вот перед ней знакомый дом. У подъезда встретила соседку – та сказала, что видела Дарью накануне вечером, та пришла в красной куртке с капюшоном и почему-то долго стояла у подъезда под морозящим дождем, прежде чем войти.

«Может быть, я зря ее вообще сюда отправила, – подумала женщина. – Ей семнадцать всего все-таки... Еще детская психика, и бабушку она любила так...»

Тяжело ступая, она поднялась на нужный этаж и замерла перед дверью. Как соляной столб выросла в пол – почему-то еще не открыв двери, женщина точно знала: в квартире ее ожидает нечто страшное – такое, что и предположить невозможно и от чего никогда уже не избавиться. Она осторожно повернула ключ – и сразу в прихожей заметила тяжелые ботинки Дарьи и ее красную куртку. В квартире была тишина.

– Дочь? – дрогнувшим голосом позвала женщина. – Даша?

Никто ей не ответил.

Дарьяна мать была из того сорта педантов, которые не могут чувствовать себя успокоенными, пока в раковине есть хоть одна невымытая чашка, и в самые черные минуты успокаивают себя гладкой постельного белья. Это была чистоплотность на грани невроза – женщине было почти физически больно, если полотенца висели не «по росту», если на блузе была хоть складочка. Она до сих пор сама крахмалила простыни – так, как когда-то научила ее бабушка, и натирала паркет специальной мастикой, и стеклянные стаканы мыла в три этапа, чтобы они казались только что принесенными из дорогого магазина. Дарья то ли уродилась другой, то ли с возрастом вобрала отвращение к гармонии – ее успокоенность рождалась из хаоса, вокруг нее всегда были мятые бумажки и мятое тряпье.

Перед тем как зайти в квартиру, женщина сняла уличные туфли и аккуратно поставила их на полку.

Дарья обнаружилась сразу же, в кухне. В первый момент мать обрадовалась – жива, жива! – но уже в следующую секунду улыбка исчезла с ее лица, потому что дочь подняла голову и посмотрела на нее каким-то невидящим взглядом.

Дарья сидела на полу, прижав слегка расставленные колени к ушам, в этой позе было что-то обезьянье. Перед ней, на полу, стояла тарелка с горкой покрытых плесенью, полуразложившихся оладьев, склеившихся в единую кучку источающего вонь теста, в которой еще и копо-

пились личинки. К ужасу матери, Дарья оторвала от вонючей массы кусочек и положила его в рот.

– Что ты делаешь, оставь!

Женщина в один прыжок подскочила к ней и хотела отодвинуть тарелку, но дочь вдруг зарычала, как животное, и приподняла верхнюю губу, показав зубы, между которыми застряли кусочки теста. От нее странно пахло – кислый, как будто бы многодневный или старческий, пот и земля. Густой запах влажной земли.

– Дашенька...

Но девушка не отозвалась, из ее лица ушла привычная ясность и вообще – все знакомые выражения, она была похожа на манекен. Отвернувшись к стене и закрыв торсом тарелку, она продолжила есть – жадно и неряшливо. Крупная личинка выпала из ее рта и шлепнулась на пол.

В замешательстве постояв над дочерью несколько минут, будто бы привыкая к мысли, что этот ужас действительно вошел в ее жизнь, женщина все-таки сообразила отойти к телефону и вызвать психиатрическую «скорую».

Когда врачи приехали, тесто было уже доедено и Дарья ловким прыжком взобралась на подоконник. Ее била мелкая дрожь, и мать накинула ей на плечи куртку. Дарья тотчас же надвинула на лицо красный капюшон. Врачам она далась не сразу и даже до крови укусила санитаря, протянувшего к ней руку. Пришлось сделать успокоительный укол, чтобы ее, полуморочную, увезти. Мать пустили к ней только на следующее утро.

Черный венок

(История, рассказанная автору врачом N)

Первым зимним утром восьмидесятилетний Петров не поднялся с постели, хотя у него был запланирован поход к гастроэнтерологу, а потом на рынок, за свежим творогом и португальской клубникой, которую он покупал мизерными порциями и потом в бумажном кулечке бережно нес домой.

Петрову нравилось баловать деликатесами жену, Нину, которую он любил уже полвека. Жена была ленинградкой и помнила, как мать варила кожаные туфли, а отец вполголоса говорил: все равно Нинка не выживет, надо *что-то делать*. Нине было всего одиннадцать, но она прекрасно понимала: «что-то делать» – это когда самого слабого приговаривают, чтобы те, кто сильнее, продолжали жить. За несколько недель до того дня, как мать стояла над кипящей водой, в которой размокали ее свадебные туфли, от соседей потянуло мясным бульоном. А их младшего сына, одноклассника Нины, щуплого мечтательного мальчика, который надеялся стать летчиком, хотя ему было понятно, что таких близоруких в небо не пускают, больше никто никогда не видел. Соседи даже глаза не прятали, наоборот – смотрели с некоторым вызовом, как будто бы альтернативная мораль, благодаря которой на некоторое время на их щеках появился румянец, а в глазах – блеск, стала их стержнем.

У Нины тогда не было даже сил бояться и тем более сопротивляться, но мать как-то сумела ее отбить. По иронии, из всей семьи в итоге выжила только она, Нина, самая слабая.

После войны Нина ни одного дня не голодала. Но ягодам, хорошему сыру, пирожным-корзиночкам радовалась как дитя, всю жизнь, это было дороже, чем жемчуга, и теплее, чем объятия. Для Петрова было очень важно поехать на рынок за клубникой, однако он не смог встать, как будто невидимые путы его держали. Не поднялся он и во второй день зимы, и в третий, а уже к февралю стало ясно – не жилец. Угас он стремительно, как свеча, накрытая колпаком, и как-то странно – врачи так и не поняли, в чем дело.

Еще в начале осени никто не давал Петрову его лет – в нем была та особенная статья, которая выдает бывших военных. Широкие плечи, аккуратные седые усы, густые волосы, кожаный пиджак – ему и в его восемьдесят часто говорили в спину: «Какой мужчина!» А жена Петрова всю жизнь слышала: «Ты поаккуратнее, уведут ведь!» И пытались увести, много раз пытались.

В последний раз вообще смешно – наняли они женщину, чтобы та помогала квартиру убирать. У жены Петрова пальцы совсем скрутил артрит – ей было трудно мыть полы во всех трех комнатах. Вот и нашли по объявлению помощницу. Галей ее звали. Простая деревенская женщина, о таких часто говорят: без лица и возраста. Ей могло быть и двадцать пять, и пятьдесят. Кряжистая, с сухой кожей на щеках и ловкими сильными пальцами. От нее всегда почти неуловимо пахло кисловатым потом, и когда она покидала дом, жена Петрова, немного стесняясь, все же проветривала комнаты.

Галя приходила через день. Работала она хорошо – кроме всего прочего умела натирать паркет воском. Не ленилась, пылесосила даже потолок, ежемесячно мыла окна, перестирала все шторы. Но обнаружился один изъян – очень уж ей понравился Петров. Ему была прищуща та дежурная галантность, которую неизбалованные женщины часто ошибочно принимают за личную приязнь. Когда он приветствовал домработницу утром: «Рад вас видеть, Галюшка!», та краснела как школьница, тайком прочитавшая главу из найденного у родителей «Декамерона». А Петров думал, что она разругалась от интенсивного мытья полов. Он вообще был в этом смысле довольно наивен.

Среди мужчин однолюбы встречаются так редко, что большинство даже не верит в их существование. Петров был влюблен в жену – искренне и просто. С годами чувство его стало

спокойным – ушел порыв, ушла страсть, но и через пятьдесят лет он все еще иногда исподтишка любовался женой.

Нина сидела под торшером с книгой, а он делал вид, что читает «Советский спорт», а сам ее рассматривал. И такой хрупкой она была, и такими тонкими стали к старости ее добела поседевшие волосы, и так пожелтела кожа, что ему даже страшно было за эту бестелесность. Будь у Петрова крылья, он бы распростер их над женой, чтобы защитить ее от сквозняков, ОРВИ, каждую осень гулявшей по Москве, чересчур яркого солнечного света, хамоватой медсестры из районной поликлиники, извергаемых телевизором дурных новостей.

А Галя приходила мыть полы в короткой юбке из парчи и, если ей из вежливости предлагали чаю с вареньем, никогда не отказывалась. Петрову она сочувствовала. Такой статный мужик, а вынужден жить при некрасиво состарившейся жене, которую вполне можно было за его мать принять. Благородный потому что.

Долго терпела Галя. Она привыкла к инициативным мужчинам, и все ждала, когда Петров заметит ее интерес, одуреет от свалившегося счастья и потащит ее сначала в постель, а потом и под венец.

Объяснение было тяжелым. Галя нервничала – она была опытным игроком на поле кокетливого смеха, а вот слова всегда давались ей с трудом. Петров изумленно хлопал глазами. Даже если бы он был одинок, эта потная румяная женщина в неуместной нарядной юбке была бы последним человеком, удержавшим его взгляд. Побоялся он вульгарных шумных баб.

И все же неловкие признания домработницы тронули его, и Петров старался подобрать такие слова, чтобы женщина не почувствовала себя раненой. Усадил ее в кресло, налил хорошего коньяка, который Галина выпила залпом, как водку.

Кряжистая Галя не понимала, почему сок ее жизни не волнует Петрова, а сухонькая вечно мерзнущая старушонка с костлявыми ключицами, артритными пальцами и выпцветшими глазами – да.

Через какое-то время она сказала, что больше не может убираться в их доме. И, честно говоря, семья Петровых вздохнула с облегчением. Все это случилось в середине октября.

И вдруг вот так.

В первый день весны Петров перестал дышать – это случилось под утро. Нина сразу почувствовала, во сне. Повернулась к мужу. Даже когда Петров заболел, она продолжала спать рядом с ним. Привычка. Мертвый Петров лежал с ней рядом и с улыбкой смотрел в потолок. За месяцы болезни он так усох, что перестал быть на самого себя похожим.

И на похоронах Петрова, и вернувшись в опустевший дом, где на прикроватной тумбочке лежали его таблетки и очки, Нина чувствовала, что муж – где-то рядом. Как будто бы у него, покинувшего тело, действительно отросли те самые крылья, которыми он мечтал ее укрывать и защищать.

Нина была спокойна – улыбалась даже. Подарила соседям новую зимнюю куртку, купленную для Петрова да так и не пригодившуюся, и антикварную фарфоровую супницу. Не будет же она красиво сервировать стол для себя одной. Это было бы слишком грустно.

На сороковой день Нина решила распушить подушку, на которой спал муж. Дорогая подушка, гусиный пух, только вот спать на ложе мертвеца – дурная примета. Пригласила знакомую швею, та обещала за час-другой управиться. Но спустя буквально несколько минут она позвала в спальню Нину, и лицо ее было мрачным.

– Смотри, что я нашла. Кто это вас так?

На кровати лежал черный веноч. Подойдя поближе, Петрова увидела, что он сплетен из вороньих перьев.

– Что это? – удивилась она.

– Вас надо спросить, – криво усмехнулась портниха. – Кому так насолили, что порчу смертную на ваш дом навели. Хорошо еще, что сами на этой подушке спать не стали, – она бы вас, худенькую такую, за неделю стубила.

Нина Петрова, когда-то выжившая в блокадном Ленинграде, точно знала, что Бога не существует. Когда она слышала церковные колокола, ей все мерещилось улыбающееся лицо соседского мальчишки, которого съели собственные родители, чтобы продержаться. И никто их не осудил, не посмел бы. Петровой казалось, что если кто в Бога верит, тот, выходит, либо малодушный человек, либо просто никогда не пытался прожевать вываренные в соленой воде свадебные туфли матери. Веру она воспринимала как слабость, суеверия – как глупость. Много лет они с мужем выписывали журнал «Наука и жизнь». В иной момент она просто посмеялась бы над темной портнихой.

Но венки из вороньих перьев – был.

А Петров – умер, и врачи так и не смогли найти причину угасания.

– Ерунда... – не вполне уверенно сказала Нина. – Да и некому было...

– А вы подумайте, – прищурилась швея, уже предвкушавшая, как она расскажет эту яркую историю коллегам и родственникам. – У вас в доме бывал кто посторонний? Помнится, вы говорили, женщина убираться приходила.

Нина как наяву увидела перед собою полное красное Галино лицо; верхняя губа трясется от гнева, зрачки сужены, как у собаки в трансе бешенства.

– Вы меня еще вспомните, – сказала она, принимая из Нининых рук свою последнюю зарплату. – Нельзя так со мною обходиться!.. Это вы тихоня, ко всему привычная, ссы в глаза – все божья роса. А я другая. Я и постоять за себя могу!

– Да за что же... – растерянно хлопала ресницами Нина. – Я не понимаю, душа моя... Разве мы вас хоть когда-то хоть чем-нибудь обидели?.. А если вы о муже моем, так он просто...

– Молчите уж! – перебила Галя, для которой ненависть была как парная в русской бане, – лицо ее покраснелось и вспотело. – Я просто предупредила!

И вот теперь такое... Смерть, так неожиданно пришедшая в дом, венки в подушке... Нет, Нина, конечно, не поверила портнихе – ей было очевидно, что единственный факт не может быть базой для выводов. Совпадение, просто страшное совпадение.

Венки из вороньих перьев она зачем-то закопала на пустыре.

Смерть красавицы

В начале февраля хоронили самую красивую из моих подруг. Не исключаю, что она была самой красивой женщиной во всей Москве. А может быть, и за ее пределами.

Лилия знала о том, что ей предстоит умереть, – примерно за двенадцать недель до того, как урну с ее прахом водрузили на обветшалую стену колумбария унылого загородного кладбища, ей сообщил об этом лечащий врач. Должно быть, он чувствовал себя инквизитором, который и в Бога-то не особо верит, просто из таких вот причудливых наростов сложился конструктор его карьерной лестницы – может быть, он хотел всего лишь постичь нечто запретное, но вместо этого был вынужден читать приговор измученной в пыточном подвале псевдоведьме, которой назначили публичное сожжение на городской площади лишь за то, что над ее губой чернела родинка в форме сердца. Ведь всем средневековым соседкам, чьи мужья задумчиво прислушивались к шелесту чьей-нибудь шелковой юбки, было известно, что родинка в форме сердца – есть дьявольский поцелуй.

Врачу-инквизитору перевалило за шестьдесят, у него были седые брови и умные серые глаза за аквариумами дорогих очков, и он с детства мечтал мир спасти – и спасал ведь, пусть не сам мир, а его частности, везунчиков, которые потом годами присылали ему дорогой коньяк на Рождество.

Но имелся и побочный эффект – читать приговоры. Растерянная девушка, сидевшая перед ним на самом краешке больничного стула, была хороша как сама весна, ее глаза лучились ожиданием чуда и надеждой на бесконечность будущего, а он был вынужден говорить ей о метастазах в костях. На щеках ее играл румянец, нежный, как у барышни из книжки Джейн Остин, а кости – гнили, и это было необратимо. Химиотерапия в этом случае служила тем самым пыточным подвалом, в котором мучили ведьм перед тем, как очистить их душу огнем. Лилию отпустили домой умирать, выписав сильные обезболивающие.

Умирать она не хотела и, кажется, не собиралась.

Надо сказать, за глаза Лилию часто называли пустышкой – потому что, прожив четверть века, она сумела утвердиться лишь на игровом поле безусловной красоты. Пыталась получить высшее образование, поступила сначала в «Щепку» – таких ангелоликих часто берут за фактуру, – но вылетела, не доучившись и до второго курса. Потом пристроила документы в какой-то новорожденный экономический вуз, довольно сомнительный, – но там ей стало скучно. Оплатила двухмесячные курсы мастеров маникюра – все же ремесло, – но и это не пошло, болели глаза, спина.

Лилия могла себе позволить порхать – когда у тебя лицо даже не как с обложки, а как с картины, искусство выживания не требуется. Все, что нужно, и так складывается на твой алтарь. К ней никто не относился всерьез, и зря, потому что превратить стрекозиный вальс в спринтерский забег ей мешало всего лишь ощущение ненужности конкуренции. А вовсе не отсутствие ума или навыка найти нестандартное решение.

Признаюсь, я долго не могла поверить, что Лилия говорит всерьез, когда она собрала вечеринку и, волнуясь, рассказала нам, друзьям, что решила стать бессмертной. Все документы уже оформлены, контракты – подписаны, юридические вопросы – улажены. Это была последняя вечеринка в ее короткой жизни – с каждым днем ей становилось все труднее ходить, говорить, дышать, думать.

Она лежала в кровати и маленькими глоточками пила минералку, налитую в хрустальный бокал для шампанского. А мы сидели вокруг, ели пиццу и пили сухое вино. Лилия была так худа, что почти бесплотна, но глаза ее горели. Есть одна фирма, говорила она, которая дает шанс стать бессмертным. Не гарантию, но все-таки весомый повод надеяться. Они замо-

раживают тело и помещают его в специальное хранилище. Как муху в янтарь. Или мамонта – в ледник.

И лежишь ты там этакой спящей красавицей в хрустальном гробу – с одним только отличием, что разбудить тебя может не поцелуй принца, а развитие нанотехнологий и медицины. Пройдет лет пятьдесят, и ученые будут готовы воскресить плоть, заменив все, что вышло из строя, на новенькое, в специальных биоинкубаторах выращенное. А тут и ты, готовенький, с изморозью на ресницах.

– То есть, насчет изморози я не уверена, – нахмурившись призналась она, – но идея мне нравится. Когда-нибудь за моим воскрешением будет наблюдать весь мир. Может быть, мы с вами еще встретимся. Только вы уже, конечно, будете дряхлыми стариками, а я останусь такой же, как сейчас.

Когда все поняли, что это не дурацкий розыгрыш, посыпались вопросы. Уверена ли Лилия, что это не шарашкина контора имени лисы Алисы и кота Базилио? Наверное, такая процедура стоит баснословных денег – откуда у нее, безработной, могла найтись такая сумма? А вдруг ее обманут – деньги взяли, а в назначенный час волшебный доктор с гробом хрустальным не приедет?

Лилия отвечала спокойно и уверенно. Это не обман – уже почти триста упокоившихся романтиков спят в морозильных камерах и когда-нибудь будут разбужены. Деньги, конечно, немаленькие – тридцать тысяч долларов, но у нее была машина, пожилой «фольксваген» – жук, жизнерадостно оранжевый, остаток же суммы подарил один из тех, кто восхищался ангельской природой ее красоты издалека. Банкир какой-то. Жениться на ней мечтал, дурачок, не знал про чертovy гниющие кости.

– Можно было сохранить только мозг, это стоит гораздо дешевле, десять, – смущенно улыбнулась она, кутаясь в плед. – Тогда в будущем его смогут присоединить к киборг-телу. Ты останешься собою, только будешь выглядеть иначе.... Ну я подумала....

Фразу она не закончила, но мы и так знали, о чем она подумала. Расставаться с таким красивым сосудом, как ее тело, наверное, было мучительно. Ей хотелось обессмертить все – и личность, и ее вместилище.

– Я написала завещание. Когда мне станет совсем худо, у моей постели будут круглосуточно дежурить представители фирмы. Они смогут быстро вызвать перевозку, чтобы я... не испортилась.

Уходила она тяжело, но беззаботно. Таяла как Снегурочка, и ее прекрасное лицо совсем пожелтело. Она говорила, что боль ее похожа на осьминога – иногда засыпает, но чаще шевелит скользкими щупальцами внутри. Иногда ей хочется побыстрее уснуть в леднике.

Почему сказки о снегурочках всегда грустные. Вот и тут. Представитель фирмы – подрабатывающий студент медвуза – действительно дежурил у ее постели. Читал ей Питера Пена вслух и, кажется, почти успел влюбиться. Бархатные крылья смерти все еще казались ему поводом для размышлений романтического толка. Ему было девятнадцать лет, это была его первая работа, к мясорубке он не привык, а трупы видел только в анатомичке.

И вот однажды, около шести утра, сердце Лилии сократилось в последний раз, запищал медицинский монитор, задремавший студент переполошился и дрожащими руками начал набирать номера начальства. И вроде бы даже машина-холодильник выехала за спящей красавицей, но тут в комнату ворвалась Лилина мать, за спиной которой маячил сонный мордастый участковый.

Если честно, мы так и не поняли, чем руководствовалась эта женщина. Каковы были ее мотивы. То ли не могла простить дочери продажу «жука». То ли всю жизнь ревновала к ее красоте и вот решила отыграться. Оказалось, террористический акт готовился заранее. Она варила для Лили бульоны и киселя, меняла ей капельницы, следила, чтобы наволочки всегда были белоснежны и накрахмалены, выслушивала монологи о бессмертии, плакала в телефонную

трубку подругам, а сама втихаря нашла ушедшего юриста, который каким-то образом аннулировал Лилино завещание.

И получилось, что за тело ответственна теперь мать, а не контора с волшебным холодильником.

Три с половиной часа у кровати покойной продолжался скандал на повышенных тонах. Даже разъяренная заспанная соседка пришла – в бигуди и дырявых тапочках. Пришла, увидела тело и бочком, как напуганный анапский краб, уползла в свою кухню, где до рассвета пила ромашковый чай и смотрела какой-то глупый сериал, чтобы отвлечься от мысли, что все пройдет. Три с половиной часа машина-холодильник стояла во дворе Лилиного дома.

А потом руководитель проекта сказал, что время ушло. Поздно.

Студент-медик, говорят, после того случая быстро спился и пошел в кладбищенские сторожа.

А эта женщина, Лилина мать, обзвонила нас и пригласила на кремацию. И нам пришлось пойти, и слушать, как она воеет и причитает, и принимать из ее рук стопки с ледяной водкой, и закусывать приготовленной ею кутьей – хотя это было так противно, так противно, так... Мы переглядывались, а на Лилину маму никто не смотрел. Потому что она была настоящим злодеем – похитила у Спящей Красавицы бессмертие, обратила его в теплый пепел, заполнила им пошлую вычурную урну и поставила на стену, среди сотен таких же урн с именными табличками. И вот это было по-настоящему необратимо.

Инкуб

«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал...»

(Быт: 6:1–2)

«Существует весьма распространенная молва, и многие утверждают, что испытали сами или слышали от тех, которые испытали и в правдивости которых, нельзя сомневаться, что сильвины и фавны, которых, в просторечии, называют инкубами, часто являются сладострастниками и стремятся вступить с ними в связь...»

(Блаженный Августин. «О граде Божьем»)

Осталась одна женщина вдовой. Целый год глаза ее разъедала соль – родные даже начали подозревать, что она умом тронулась. Плачет и плачет. На второй год слезы кончились, как будто плотину перекрыли. Женщина даже пошла работать – нанялась поваром в хороший ресторан. У нее самой аппетит безвозвратно пропал еще в тот день, когда она через силу записывала в рот поминальную кутью – потому что «так принято» и «надо как у людей». Аппетит ушел, но остались навык, ловкость рук и склонность к монотонной работе. В ресторане ее поставили «на салаты» – никто не умел нарезать овощи такими красивыми почти прозрачными ломтиками.

Пошел год третий, и горе осталось разве что в донной части ее глаз, и разглядеть его могли только те, кто особо внимателен к настроениям и состояниям других. Все же остальные видели обычную бабу – чуть увядшую и поскучевшую, тихую, но остроумную, уставшую карабкаться, но не позволяющую садиться на шею, с выкрашенными хной волосами, в немодных юбках фасона «годэ».

Каждый год, в день смерти мужа, женщина устраивала поминальный ужин. Ставила на стол его фотографию в траурной рамке, нарочно покупала красивые свечи, вынимала из «стенки» пылившийся там дешевый хрусталь и чудом сохранившееся прабабушкино фарфоровое блюдо. Готовила что-нибудь изысканное, накрывала на двоих, покупала хорошее вино. И сама так наряжалась, как будто это было настоящее свидание. Заранее записывалась к парикмахеру и косметологу, продумывала платье.

Вдова и сама понимала, что все это выглядит странно и этот ужин больше похож не на дань памяти тому, кого ты отпустил на тот берег Стикса, а на какой-то варварский обряд. Но поделаться ничего не могла – так ей было легче справляться. «Ему уже все равно, а мне проще, – думала она. – Я же никому зла не делаю, а то, что это странно... Ведь об этом никогда и никто не узнает».

И вот на третий год она, как обычно, сидела за столом – бутылка вина уже ополовинена, салат с перепелиными яичками и оладушки с икрой минтая – съедены, впрочем, без особого аппетита, даром что на дворе были голодные девяностые и продукты она достала не без труда. В голове ощущалась тяжесть – женщина уже успела и поговорить с фотографией, и всплакнуть, и вздохнуть о том, как несправедливо быть однолюбом, тем более если тебе всего сорок два и горе красиво заострило твои скулы и добавило взгляду глубины.

Время перевалило за полночь, и она, кажется, собиралась потихонечку сложить тарелки в раковину и убрать фото туда, где оно и находилось оставшиеся триста шестьдесят четыре дня в году, – на трюмо в спальне, когда вдруг странный холодок пробежал по ее спине. Как будто сквозняк – а ведь все окна в квартире были закрыты, да и ночи стояли душные, как часто бывает в разгаре июля. Но отчего-то у нее возникло желание набросить на плечи

кофту или шаль, и вдова растерянно осмотрелась по сторонам, вспоминая, куда она убрала домашний халат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.